

СОЦИОЛОГИЧЕСКОЕ
ОБОЗРЕНИЕ

Том 2. № 2. 2002

S O C I O L O G I C A L
R E V I E W

Московская школа социальных и экономических наук

Центр фундаментальной социологии

Социологическое обозрение

Том 2. № 2. 2002

Интернет-версия журнала на сайте www.sociologica.ru

Главный редактор – Александр Фридрихович Филиппов
Ответственный секретарь – Марина Геннадиевна Пугачева
Редактор сайта – Сергей Петрович Еремин
Литературный редактор – Каринэ Акоповна Щадилова

Адрес редакции: mail@sociologica.ru

Журнал выходит четыре раза в год

Проект осуществляется при финансовой поддержке
Национального фонда подготовки кадров

СОДЕРЖАНИЕ

РЕФЕРАТЫ

Джек Барбалет

Эмоция, социальная теория и социальная структура:

макросоциологический подход3

ПЕРЕВОДЫ

Ирвинг Гофман

Укоренение деятельности в окружающем мире

(Предисловие Ковалева А.Д.).....10

Герберт Спенсер

Что такое общество?54

РЕЦЕНЗИИ

Андрей Здравомыслов

Россия глазами доброго соседа (М.Койвисто. «Русская идея». М.: Весь мир, 2002)57

Александр Филиппов

Аспекты денежной культуры. Новые работы по «Философии денег»

Георга Зиммеля (Под ред. Вильфрида Геснера и Рюдигера Крамме.

Магдебург: Эдицъон Гумбольдт, 2002)64

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

Андрей Ашкеров

Юрген Хабермас и глобализация.

(Ю.Хабермас «Вовлечение Другого. Очерки политической теории». М.: Наука, 2001.).....70

СТАТЬИ И ЭССЕ

Олег Яницкий

«Критический случай»: социальный порядок в «обществе риска».....86

IN MEMORIAM

Герман Германович Дилигенский.....100

РЕФЕРАТЫ

Николаев В.Г.

ДЖЕК М. БАРБАЛЕТ
ЭМОЦИЯ, СОЦИАЛЬНАЯ ТЕОРИЯ И СОЦИАЛЬНАЯ СТРУКТУРА:
МАКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД

BARBALET J. M. Emotion, Social Theory and Social Structure: A Macrosociological Approach. — Cambridge: Cambridge University Press, 1999. — 210 p.

Книга Джека М. Барбалета (Австралийский национальный университет) посвящена «социологии эмоций» — направлению, привлекающему в последнее время все больше внимания зарубежных социологов и мало известному у нас. Книга включает введение, семь глав и эпилог. Она весьма удобна для чтения, так как автор систематически предпосылает как книге в целом, так и отдельным ее главам подробное изложение того, о чем и в какой последовательности дальше будет идти речь, а также основные тезисы, которые он будет отстаивать.

Барбалет исходит из того, что социологическое объяснение социальной структуры, социального действия и социальных процессов, пренебрегающее эмоциями действующих лиц, не может быть адекватным. Эмоция — не просто еще один объект в ряду других социологических объектов. Она является столь же важной движущей силой индивидуального и коллективного поведения, как когнитивные состояния и рациональный расчет. Поэтому социология эмоций так или иначе имеет важные последствия для общей социологической теории и частных социологических теорий, объясняющих отдельные аспекты социальной структуры и социального действия; она призвана «расширить наше понимание социальной структуры и повысить компетентность нашей социальной теории» (Р. 7). Соответственно, автор ставит перед собой две основные задачи: исследовать под углом зрения эмоций ключевые аспекты социальной структуры (такие, как рациональность, классовая структура, социальное изменение и т. д.) и внести коррективы в социологическую теорию исходя из применения данного подхода к социальным явлениям (Р. 1). Помимо постановки основных задач, во введении устанавливаются некоторые ключевые принципы социологии эмоций, как их понимает автор. Во-первых, внимание должно быть сосредоточено не на «эмоции вообще», которая есть всего лишь абстрактная категория, а на конкретных эмоциях, обладающих «реальностью непосредственного переживания»; именно они играют важную роль в реальных социальных процессах. Автор не ставит перед собой задачи создания «общей теории эмоций», а видит смысл социологии эмоций на нынешнем этапе ее развития в анализе вклада конкретных эмоций в производство, воспроизводство и изменение тех или иных аспектов социальной структуры (образцы такого анализа предлагаются в главах 3–7). Во-вторых, необходимо вовлекать в сферу внимания весь спектр эмоций: не только патологические, но и нормальные; не только бросающиеся в глаза, но и фоновые; не только осознаваемые и вербально определяемые, но и уходящие от осознания и словесного выражения. В-третьих, на протяжении всей книги (кроме эпилога) Барбалет сосредоточивает внимание на макросоциологическом аспекте эмоций и их связи с социальными структурами; этот акцент связан с тем, что существующая социология эмоций сконцентрирована на «микросфере» социальной жизни и создает ошибочное впечатление, что категории эмоций не могут быть применены для анализа макросоциологических

проблем. Кроме того, такой акцент позволяет показать социологичность эмоций в противовес неверному взгляду, будто «с эмоциями можно работать только психологически» (Р. 6). В конечном счете, социология эмоций, по мнению автора, может внести важный вклад в «понимание связей между микро- и макро-областями» (Р. 4).

Первые две главы имеют общетеоретический характер.

В главе 1 «*Эмоция в социальной жизни и социальной теории*» (Р. 8–28) рассматриваются три основные темы: место эмоций в социальных процессах; место категорий эмоций («эмоции» вообще и конкретных эмоций) в истории социальной мысли; связь эмоций с культурой и социальной структурой. Автор начинает с констатации того, что эмоции имеют социальную природу и в силу этого не могут не интересовать социологию: с одной стороны, они «результаты социальных процессов», требующие социологического объяснения; с другой – «причины» социальных процессов, необходимые для «объяснения самих оснований социального поведения» (Р. 9–10). Несмотря на это, нынешняя социология «оставляет мало места для эмоции» (Р. 11). Исторически не всегда было так. Шотландские просветители XVIII в. (А. Смит, А. Фергюсон) уделяли много внимания эмоциям и чувствам как фактору социальных отношений. У многих социологов XIX – начала XX в. (А. Токвиль, Г. Лебон, Э. Дюркгейм, В. Парето, Ф. Тённис, Г. Зиммель, А. Смолл, У. Самнер, Л. Уорд, Э. Росс, Ч. Кули и др.) категории эмоций имеют очевидную объяснительную ценность. Однако с 30-х гг. XX в. началось «изгнание эмоции» из социологии и формирование «социологии без эмоций» (Р. 13). Важную роль в этом сыграла веберовская идея рационализации и, вообще, рецепция социологии Вебера как социологии, для которой «аффективное действие» и эмоция были «остаточной категорией» (при этом скрытый интерес Вебера к эмоциям был не замечен). Важное значение также имели: общепринятое противопоставление эмоции и разума; реакция на романтизм, отождествившая эмоцию с мифотворчеством; ослабление массовых движений и сопутствующий этому перенос интереса с массового поведения на безличные бюрократические организации. В теории Парсонса, подчеркивающей «аффективную нейтральность» современного социального развития, эмоция стала рассматриваться не просто как иррациональная, но как «досовременная», «нерелевантная для систем инструментального действия», «разрушительная для нормального социального функционирования» сила (Р. 16–18). В 30-е – 70-е гг. в социологии преобладал «почти исключительный акцент на когнитивных основаниях социального действия» (Р. 16), и эмоция не занимала в ней «прочного места». Однако даже в это время «табу на эмоцию... не было полным» (Р. 20): она «прокрадывалась в социологические объяснения» в работах Дж. Хоманса, Ч. Р. Миллса, Н. Смелсера, А. Гоулднера и др. Значимость эмоции в социальных процессах стала одной из важнейших тем в работах И. Гофмана и Р. Коллинза. В конце 70-х – начале 80-х гг. интерес к эмоциям в социологии резко возрос. Появилось много публикаций на эту тему. Главные среди них: «Социально-интеракционистская теория эмоции» Т. Кемпера (1978), «Управляемое сердце» А. Хохшильд (1983) и «О понимании эмоции» Н. Дензина (1984). Проявилось осознание того, что эмоция не «досадная помеха» для нормального протекания упорядоченного поведения, а важный его фактор (Р. 22). В последнее время возобладала конструктивистская трактовка эмоций как следствия культурных и когнитивных процессов. Она, по мнению автора, заслуживает «скептического отношения» как волюнтаристская и неправоммерно ограничивающая понимание эмоции ее когнитивным оформлением, которым можно осознанно управлять, в то время как значительная часть эмоций переживается «ниже порога сознания» (Р. 24). В конструктивистском подходе автор видит и более серьезный дефект: он оперирует «ярлыками» и в силу этого ограничивается описанием «эмоций, социально представленных в преобладающей культуре»; такое отождествление эмоций с их социальными репрезентациями неправоммерно (там же).

Опираясь на критику конструктивистского подхода к эмоциям, автор выдвигает ряд принципиальных теоретических и методологических положений.

1. Эмоции нельзя рассматривать как элементы культуры; они имеют не только культурные, но также биологические и (что важнее всего) социально-структурные основания. «Прежде всего, эмоции следует понимать в рамках структурных отношений власти и статуса, которые их порождают. Это делает эмоцию в такой же (если не в большей) степени социально-структурной вещью, в какой и культурной» (Р. 26).

2. «Людьми движут только конкретные эмоции», а «конкретные эмоциональные переживания возникают в конкретных отношениях». Поэтому эмоции надо рассматривать в контексте конкретных социальных отношений. Эмоции всегда существуют в единстве и взаимопереплетении; из этого клубка их выделяет только язык. Вычленять работу конкретных эмоций удобнее всего через их социальные источники и последствия (там же).

3. Связь социальной структуры, эмоций и действия концептуализируется следующим образом: «не культурные правила, а прежде всего структурные свойства взаимодействий определяют эмоциональные переживания... а конкретные эмоциональные переживания предрасполагают к определенным курсам действия». Таким образом, эмоция есть «необходимое связующее звено между социальной структурой и социальным актором», и без нее описание действия будет «фрагментарным и неполным» (Р. 27).

4. В социологии эмоций нужно «выйти за рамки доминирующей ныне социально-психологической ориентации» и сосредоточить силы на менее всего изученной «значимости эмоций в крупномасштабных или макроскопических социальных процессах, а также на роли эмоции... в мобилизации коллективных социальных акторов в исторических контекстах» (Р. 28).

Глава 2 «*Эмоция и рациональность*» (Р. 29–61) посвящена рассмотрению и переоценке связи между этими двумя понятиями. Барбалет рассматривает три подхода, по-разному трактующих эту связь.

Конвенциональный подход противопоставляет эмоцию и разум, ставит последний «в центр человеческого бытия», утверждает, «что рациональное действие подрывается эмоцией и что рациональность противостоит эмоции и подавляет ее» (Р. 38). Этот подход уходит корнями в новоевропейскую философию с ее разделением разума и тела, превознесением разумного поведения и трактовкой эмоции как неподконтрольной разуму разрушительной силы; согласно ему, лучшее, что можно сделать с чувством, — это его подавить. В качестве образца конвенционального подхода автор берет работу Вебера «Протестантская этика и дух капитализма», в которой культура и природа противопоставляются друг другу. Культура трактуется как более рациональная, чем природа, осознанный замысел рассматривается как источник рациональности действия, а чувства — как источник его иррациональности и даже «антирациональности». По мнению автора, «описание Вебером кальвинистской рациональности соответствует его собственному пониманию природы рационального действия» (Р. 36). При этом отмечается, что Вебер чувствовал слабость своих допущений (отсюда введение термина «установка» для описания эмоций, стоящих на службе кальвинистской рациональности); однако более прямолинейные умы не обращают внимания на противоречия, возникающие из такого противопоставления разума и эмоции.

В рамках критического подхода эмоция и разум не противопоставляются друг другу, а рассматриваются как разные способности, вносящие свою лепту в достижение общего результата (действия). В пользу критического подхода (в противовес конвенциональному) выдвигаются следующие аргументы: сведение рациональности к эффективным отношениям «средства-цели» «игнорирует возможность иррациональных предпочтений» (Р. 40); даже при осуществлении осознанного выбора «разум и рациональность требуют эмоционального руководства» (Р. 39); рациональность не решает всех проблем человеческого существования, и эмоции обеспечивают решение проблем, не решаемых ею. Критический подход не нов (основные его идеи можно найти у Д. Юма), однако сегодня он набирает силу на фоне осознания «неразумности рациональности» и массового отворачивания к некоторым последствиям рационализации (таким, как гонка вооружений, превознесение экономической

выгоды и т. п.). В отличие от конвенционального, критический подход подчеркивает, что эмоция разрушительна не для рациональности как таковой, а только для «узкотехнического разума».

Радикальный подход (к которому присоединяется автор) идет дальше и утверждает, что «эмоция играет центральную роль даже в техническом разуме» (Р. 45). Согласно этому подходу, эмоции и разум вообще не противостоят друг другу, а образуют единый континуум. Ключевые элементы этого подхода автор находит в очерке У. Джемса «Чувство рациональности» (1897). С точки зрения Джемса, интеллект и эмоция суть «разные названия аспектов одного и того же процесса», «интеллект, воля, вкус и страсть работают сообща», а интеллект в чистом виде, подсчитывающий и анализирующий, – «нелепая абстракция», «в действительности невозможная» (Р. 45). Джемс определяет рациональность в терминах «ожиданий», или «эмоциональных ориентаций на будущее»: человек действует в условиях неясности будущего, т. е. отсутствия данных о будущем, которыми он мог бы оперировать в рациональных расчетах; поэтому выбор курса действия может быть осуществлен только эмоционально, но никак не логически. Следовательно, эмоция выполняет в действии функцию преодоления неопределенности будущего; без нее действие было бы заблокировано (Р. 47–48). Аналогичные аргументы высказываются Н. Луманом относительно доверия: правильность действия, основанного на доверии, может быть проверена только после его совершения; значит, доверие не может быть основано на знании, оно «не рационально»; если в доверии и есть рациональность, то кроется она не в принятии решения, а в «эмоции, преодолевающей неопределенность будущего» (Р. 49). Лумановский анализ доверия, по мнению автора, иллюстрирует вклад «специфической эмоции» в «специфическую рациональность» и тем самым дает пример общей роли эмоций в установлении и поддержании рациональности.

При том, что конвенциональный подход выглядит на фоне критического и радикального плохо обоснованным, он остается преобладающим. Барбалет, опираясь на Зиммеля, пытается социологически объяснить это обстоятельство. Вытеснение эмоции из рационалистически ориентированного социологического дискурса связано с утверждением рыночного (городского, капиталистического) общества, насаждающего человеку инструментальную ориентацию и тем самым вытесняющего из его жизни эмоцию как чуждую такой рациональности силу. Этот процесс поддерживается возрастанием роли «извне заданных целей» в человеческом действии (Р. 54–56). Важное значение имеет отделение семьи от места работы: рациональность связывается с работой, а эмоции – с семьей; домашняя деятельность имеет невысокую рыночную ценность, и связываемые с ней эмоции также обесцениваются. «В условиях рыночной рациональности... любое действие, функционирующее в терминах целей или задач, внешних для рыночного обмена, является неинструментальным и иррациональным» (Р. 59). Именно доминирование рыночного инструментализма поддерживает живучесть конвенционального подхода. В подтверждение этого приводится тот факт, что в добуржуазной литературе (А. Смит, А. Фергюсон, А. Токвиль, Ф. Бэкон) эмоция концептуализировалась иначе и включала более широкий круг чувств; так, у Бэкона различие между разумом и эмоцией соответствовало не различию между рациональностью и иррациональностью, а различию между идеей и действием. Сужение понятия эмоции до «домашних эмоций», связанных с воспитанием, – современный, буржуазный феномен. Обратная сторона этого есть сужение понятия рациональности до рыночной рациональности. Эмоции, поддерживающие такую узко истолкованную инструментальную рациональность (верность целям, лояльность работодателю, радость достижения успеха, неудовлетворенность неудачей, доверие к партнерам, зависть к конкурентам, жадность) перестают распознаваться как эмоции, рассматриваются как «установки», «компоненты культуры» и т. п. (например, у Вебера). Тем не менее это полноценные эмоции, только фоновые и не замечаемые, и признание этого «делает особенно нелепой идею, будто разум и эмоция противоположны друг другу» (Р. 62).

В последующих главах внимание автора сосредоточено на конкретных эмоциях и их связи с соответствующими аспектами социальной структуры.

Глава 3 «*Класс и ресентимент*» (Р. 62–81) посвящена ресентименту и его значимости для образования классов и классовых процессов. На раннем этапе развития классового анализа «классовые чувства» принимались во внимание, но ныне редко принимаются в расчет: классовые системы объясняются неравным распределением материальных ресурсов и власти. Такой подход не отвечает на вопрос, «почему неравные условия не всегда производят ожидаемые классовые действия». Ответить на него можно, если учесть роль эмоций (в первую очередь ресентимента) в классовых процессах. Барбалет анализирует эту роль, опираясь на разработку понятия ресентимента в работах Ницше и Шелера и на применение этого понятия для анализа классового конфликта у Т. Маршалла. Ресентимент в разных группах (как в классах, так и внутри классов) возникает как реакция на несправедливые преимущества, получаемые другими группами. Особое внимание автор обращает на такую структурную основу ресентимента, как динамическое изменение относительного положения разных групп в ходе «цикла деловой активности» (Р. 73–76). Отмечается, что данная эмоция присуща как низшим, так и высшим классовым группам и что взаимная интенсификация эмоциональных реакций такого рода может вести к неуправляемой эскалации враждебности и открытому конфликту (Р. 72). Неравномерное распределение ресентимента в разных группах обуславливает «частичный и фазовый» характер классовой мобилизации (Р. 76). В этой главе автор также демонстрирует, что в разных социально-культурных контекстах формы проявления ресентимента, его сила, направленность и последствия могут быть различными (Р. 77–79).

В главе 4 «*Действие и уверенность*» (Р. 82–102) анализируется важность уверенности для действия и отстаивается тезис, что «действие и, следовательно, бездействие производны от степени, в которой акторы чувствуют уверенность в своей способности реализовать непознаваемое будущее» (Р. 94). Уверенность рассматривается именно как эмоция, и обосновывается это так: действие всегда происходит в условиях неопределенности будущего, которое невозможно знать; неизвестность будущего делает калькуляцию в отношении него невозможной, и такую калькуляцию заменяет уверенность; когнитивное измерение уверенности базируется на знании актором себя, а актер знает себя через эмоции (Р. 82). Стало быть, именно уверенность выполняет в действии функцию вовлечения будущего в настоящее; и это делает ее «главной эмоцией для праксиса» (Р. 83, 88). Уверенность существует в разных вариантах, таких, как уверенность в себе, доверие, вера и т. д. Анализируя социальную природу этой эмоции, Барбалет называет два ее источника: «конкретный опыт социальных взаимоотношений», в котором актер получает со стороны других «принятие и признание», и «тип и сумму ресурсов, к которым актер имеет доступ вследствие взаимоотношения, в котором его принимают» (Р. 86–88). Организующее значение уверенности для действия рассматривается подробнее на примере «деловой уверенности»; в этом разделе главы автор опирается в основном на работу Дж. М. Кейнса «Общая теория занятости, процента и денег» (1936), социологическая значимость которой, с его точки зрения, не была должным образом оценена (Р. 90–101).

В главе 5 «*Конформность и стыд*» (Р. 103–125) анализируется ключевое значение стыда для поддержания социальной конформности. В начале главы критически анализируются трактовки стыда у А. Смита, Ч. Дарвина и Т. Шеффа (Р. 104–115). Во всех них прослеживается идея, что стыд как «чувство человека относительно того, что о нем думают другие», имеет «социальный источник» в отношениях с другими и «социальные последствия», главное среди которых — изменение поведения в направлении соответствия правилам: «стыд приводит тех, кто его испытывает, в соответствие с социальными ожиданиями» (Р. 103). Автор особо выделяет вклад Шеффа в истолкование стыда (первичность стыда как механизма конформности, возможность переживания стыда ниже порога сознания и т. д.). При этом ставится вопрос: «Не решил ли Шефф проблему

понимания стыда в то время, когда она уже не имеет никакого значения?» (Р. 115). Многие (например, Р. Харре) полагают, что стыд в современном обществе отмирает, а на смену ему в качестве «основного инструмента конформности» приходит замешательство; этот факт связывается с процессом индивидуализации, возрастанием роли личной автономии, размыванием границы между манерами и моралью; некоторые считают, что замешательство как эмоция также отмирает (Р. 117). Автор предлагает альтернативный взгляд: «произошла трансформация социального контекста, в котором переживается стыд»; суть ее – фрагментация социального мира в городских средах и, соответственно, фрагментация Я; стыд вовсе не исчез, но фрагментированное Я не может переживать его в прежних формах, и поэтому сегодня стыд существует главным образом в незаметных его разновидностях (Р. 118–120). Далее автор останавливается на социальной основе стыда и предлагает свою типологию стыда, выделяя четыре его типа (ситуационный, нарциссический, агрессивный и почтительный), вносящие неодинаковый вклад в поддержание социальной конформности (Р. 120–125).

Глава 6 «*Права, ресентимент и мстительность*» (Р. 126–148) посвящена редко затрагиваемой в социологии теме «базовых прав» (прав человека), а также эмоциям, поддерживающим их действенность. Важнейшую роль в обеспечении притязаний на эти права, считает автор, играют ресентимент и мстительность — эмоциональные реакции, возникающие при посягательствах на базовые права и являющиеся социально санкционированными выражениями морального гнева. Эти эмоции действуют как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Автор уделяет внимание разграничению этих эмоций: мстительностью движет самоуважение, ресентиментом — уважение к внешним стандартам, нормам и ценностям; ресентимент включает в себе меньше личной вовлеченности; мстительность направлена против нарушителя, ресентимент — против самого нарушения; ресентимент больше сфокусирован на правах, мстительность — в большей степени на понесенном ущербе (Р. 136–139, 147). В этом свете автор пытается по-новому истолковать эксперименты Г. Гарфинкеля по нарушению фоновых ожиданий (см. журнал «Социологическое обозрение» №1, том 2, 2002г.): главный факт, выявляемый в этих экспериментах, с точки зрения автора, — это сила эмоциональных реакций против нарушения «базовых прав», а не когнитивные конструкции, охраняемые этими и другими эмоциями (Р. 140–145).

В главе 7 «*Страх и изменение*» (Р. 149–169) Барбалет рассматривает роль страха как коллективной эмоции в социальных нововведениях и изменениях (роль прежде всего позитивную). Разграничивая причину и объект страха, автор критикует обычное понимание страха как реакции на угрозу и переопределяет соотношение страха и угрозы: «мы не потому боимся, что нечто нам угрожает, а чувствуем угрозу, потому что боимся» (Р. 155). Рассматривая социальный страх, автор разрабатывает понятие «эмоциональных климатов» (Р. 157–161). Влияя на индивидуальное поведение, коллективные эмоциональные климаты могут быть и источниками коллективного действия. Как примеры «социальных климатов страха» берутся страх рабочих перед безработицей (Р. 160–161) и страх элит за свое положение (Р. 161–167). В обоих случаях социальными последствиями таких страхов могут быть серьезные организационные изменения в обществе.

В ходе анализа конкретного материала в главах 3–7 автор выдвигает ряд общих положений, развивающих принципы, изложенные во введении и первых двух главах. Многие из них заслуживают внимания, например:

1. Поскольку эмоция существует не просто «как внутреннее состояние индивидуальных лиц», а «во взаимоотношениях между индивидами и... между индивидами и их социальными ситуациями» (Р. 67), ситуацию, в которой она переживается, «можно концептуализировать как аспект самой эмоции» (Р. 80).

2. Ресурсы, знание и смысл — «недостаточные основания для действия»; в частности, «смысл возникает в действии и через действие, но не производит его»; чтобы действие

состоялось, нужна эмоция как «переживание готовности действовать». Эмоция выполняет в действии две функции: «обеспечивает оценку акторами их обстоятельств» и «готовность акторов действовать» исходя из этой оценки (Р. 66). Принятие этой точки зрения заставляет всерьез пересмотреть теорию действия в ее веберовской трактовке. Если «всякое действие основано в конечном счете на чувстве уверенности действующего в своих способностях и в эффективности этих способностей», то «аффективный базис» имеет не только «аффективное» действие, но и любой другой его тип; тогда противопоставление рационального и аффективного действия теряет смысл (Р. 90). В крайней форме тезис автора звучит так: «Социальное действие лучше всего понимать как эмоциональный процесс» (Р. 148).

3. В свете того, какое место эмоция занимает в организации действия, модель «рационального актора», широко применяемая в социальных науках, может быть «эмпирически ущербной» и «эвристически дезориентирующей» (Р. 101).

4. «Актеры движимы эмоциями в своих взаимодействиях с другими, и их эмоции заставляют оценивать и изменять курс собственного поведения во взаимоотношениях и ситуациях... Именно через свои эмоции актеры ангажируются другими, и именно через свои эмоции они изменяют свои отношения с ними» (Р. 133).

В «Эпilogue» (Р. 170–191) автор, уравнивая макросоциологический акцент книги, обсуждает некоторые микросоциологические аспекты социологии эмоций. В заключение он затрагивает такую важную проблему, как отношение социологии эмоций к социологической классике, и отмечает, что она «находит свои классические тексты в иных подходах, либо вообще в других «разделах библиотеки», нежели социология» (Р. 170). В число важных текстов входят, например, «Теория моральных чувств» А. Смита и «Воля к вере» У. Джемса, а также работы других авторов, обильно цитируемые автором.

Исключительно высокую оценку представляемой книге дал Р. Коллинз: «С работой Джека Барбалета социология эмоций делает большой шаг вперед, покидает задворки академической специализации и выходит на сцену общей социологической теории. Это первое полномасштабное рассмотрение того, насколько первостепенное значение имеют эмоции для самых серьезных наших тем: социального порядка и конформности, рациональности, человеческих прав, скрытых и явных конфликтов, связанных с социальным неравенством, процессов социального действия и структурного изменения... Если социальная теория последует по стопам книги Барбалета, она двинется в важном и принципиально новом направлении».

ПЕРЕВОДЫ

*Ирвинг Гофман**

УКОРЕНЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ

Предисловие

«Фрейм-анализ» Гофмана с точки зрения переводчика

Предлагаемый вниманию читателей текст может показаться странным не только тем, кто впервые услышал имя Гофмана, но и тем, кто знаком с его первой изданной на русском языке книгой*. Новичков, вероятно, удивят какой-то внеисторический герметизм и микроскопичность проблематики, лишенной свойственного обычно социологии тяготения к большим социально-историческим обобщениям или к политической злободневности. Удивит, наверное, и легковесность материала, на котором проводится претендующий на универсализм анализ организации повседневного человеческого опыта: преобладают не прямые данные систематических (личных и коллективных) «полевых» социологических и психологических исследований, не «этнографические» наблюдения за жизнью современных западных обществ, а материал, что называется, «из вторых рук» – газетные историйки, сплетни, примеры из беллетристики, пьес, писем в редакции журналов и т.д. Знакомых же с книгой Гофмана о формах театрального представления людьми своей деятельности перед другими в суе повседневной жизни может озадачить вопрос (как озадачил он переводчика), почему автор, сохранив прежнюю ситуационную, микросоциологическую перспективу анализа, вдруг отошел от своей, вроде бы хорошо продуманной системы «ситуационных» понятий, построенных на театральных аналогиях, в пользу более общих, широких, но зато и по-философски расплывчатых терминов. Ответу на этот вопрос, попытке объяснить причины перехода на новую терминологию преимущественно и посвящено данное предисловие. Для этого понадобятся некоторые сведения о философии деятельности у Гофмана с попутным обсуждением переводческих трудностей при переложении его терминологических неологизмов.

Упомянем важнейшие терминологические замены и расхождения, отличающие две книги Гофмана. Он перестал четко выделять (хотя и не исключил) специальный ситуационный термин «исполнение» (performance), означавший представительскую, театрализованную форму деятельности отдельного индивида при взаимодействии с другими в условиях непосредственного соприсутствия всех этих людей в ограниченном, чувственно обозримом социальном пространстве, предпочтя растворить его в общепринятых в бытовой речи, философии и социологии безбрежных терминах «деятельность», «практика», «опыт». Он перестал последовательно различать понятия «роль» (role) и «партия» (part), где первое обычно означало динамическое, но относительно долговременное деятельностное выражение социального статуса, устойчивой позиции индивида или группы в социальной

* Erving Goffman. Frame Analysis. An Essay on the Organization of Experience. New York, London: Harper & Row, 1974. Chapter 8. The Anchoring of Activity. P. 247-299.

Полностью текст книги готовится к публикации Институтом Фонда «Общественное мнение»

* Гофман И. Представление себя другим в повседневной жизни / Пер. с англ. и предисловие А.Д.Ковалева.

М.: Канон-Пресс-Ц, 2000. – 304 с.

© Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Ковалев А.Д., 2002г.

структуре, а второе – одно из многих проявлений данной социальной роли согласно временному определению ситуации при прямых «контактах» с однотипными «аудиториями» (индивидуальными и командными получателями-оценщиками информации, поставляемой исполнителями «партий»). Как видно из большинства смысловых контекстов во второй книге, там термины «роль» и «партия» употребляются в качестве синонимов.

Но главные изменения во второй книге, откуда взята публикуемая глава, связаны с громадным уменьшением частоты употребления и веса ключевого понятия всего «символического интеракционизма» (как социологического направления, куда обычно зачисляют Гофмана) – понятия, служившего также краеугольным камнем всего анализа микросистем прямого межличного взаимодействия в первой книге. Это ключевое понятие – «*определение ситуации*», и методологические функции его во второй книге взяло на себя крайне трудное для перевода понятие «*frame*», давшее название этой книге («*Frame analysis*»). Если объяснить этот финт Гофмана, то объяснится и все остальное.

Но сначала попробуем обосновать перевод указанного понятия не из содержательных, а преимущественно из формально-ассоциативных соображений, пробуждаемых словом «*frame*» в английском, подыскав этим ассоциациям более или менее подходящий русский эквивалент. Большинство русскоязычных, знакомых с книгой, предпочитают простую кальку «*фрейм-анализ*». Это звучит солидно, чуть ли не математически точно, тем более что в вычислительной технике и в теории искусственного интеллекта термин «*фрейм*» используется довольно широко. Однако гофмановская однозначность и точность – иллюзия, его царство – феноменология обыденной жизни, в ней же самой он отыскивает присущие ей средства самоанализа и соответственно обработанные средства собственного анализа, стараясь сохранить в своих аналитических понятиях все богатство бытовых ассоциаций. Слово «*frame*» – гораздо больше бытовое, чем терминологическое. По-русски оно может значить: рама (картины, окна и т.д.), рамки, оправа (чего угодно), стойка, каркас, корпус, форма; в более техническом и терминологическом употреблении – кадр (кино- и фотопленки, микрофиши и т.п.), рамка прицела, ориентирования, блок данных, схема, структура, система отсчета, базовая система понятий, система координат (в последних трех значениях, правда, чаще встречается термин *framework*). Гофман использует и глагол «*to frame*» и массу производных от него: «*framing*», «*misframing*», «*framed*» и т.п., и весь этот спектр производных желательно воспроизвести на русском с сохранением одного и того же коренного слова.

В некоторых опытах передачи мыслей Гофмана на русском встречается перевод «*frame analysis*» как «*рамочный анализ*». Это вполне приемлемо, но, к сожалению, от слова «*рамка*» нет глагольных производных (если не считать таковым «*обрамление*» как процесс). «*Кадр*» такие производные имеет: *кадровать*, *кадрирование* и т.д., но слишком сужает смысловое поле. К счастью, в «*великом и могучем*» нашлось нужное слово – иностранного происхождения, международное, но допускающее по-русски гораздо более растяжимый диапазон смысловых оттенков, чем в других языках. Это слово «*формат*», позволяющее использовать почти все богатство русских приставок и суффиксов для производства от него любых частей речи: *форматировать*, *отформатировать*, *перформатировать*, *форматирующий* и т.д. В самом деле русский «*формат*» вызывает ассоциации не только с ограничением размеров чего-то (книги, листа и др.), но с заданием образца для копирования и с какой-то ориентировочной рамкой человеческой деятельности.

Именно в этом последнем смысле словечко «*формат*» стало за последние годы прямо-таки модным, ходовым – стоит только прислушаться к речи наших депутатов и прочих политиков, телекомментаторов и журналистов. Говорят о «*формате беседы (разговора)*», «*формате встречи*», «*формате поведения*», «*формате восприятия*», о «*вписывании в формат событий*», об «*историческом формате*» и т.п. Даже президент В.В. Путин в связи с проблемой Калининградской области говорил недавно о необходимости обеспечить перемещение российских граждан между анклавом и основной территорией в

«полномасштабном формате». Естественность возникновения этой моды, будничность и неопределенная широта употребления слова «формат», сравнимая с неопределенностью и приблизительностью употребления слова «frame» в английском склонили нас к выбору именно такого варианта перевода. Будь на то воля переводчика (зависимого от воли редакторов), он передал бы название всей книги по смыслу как «Анализ форматов человеческой деятельности: очерк организации опыта». Разумеется, все это можно и оспаривать.

Но главным в таком выборе были все же не эти поверхностные соображения о гибкости словопроизводства и почти бытовой распространенности, а смутное ощущение глубинного сходства того содержания, которое англоязычные пользователи вкладывают во «frame», а русские – в «формат». Попробуем расшифровать хотя бы подразумеваемые смыслы вышеупомянутого путинского выражения «в полномасштабном формате». По-видимому, это означает, во-первых, максимально полное сохранение привычного для российских граждан порядка, сложившейся (по закону и по обычаю) организации поездок по своей стране и, во-вторых, сохранение привычного субъективно-психологического комфорта при этих поездках (уверенности в том, что доедешь без всяких досмотров иностранных властей, без стеснительных ограничений дорожных привычек, свойственных русской бытовой культуре и т.п.). Но это приблизительно те же элементы (объективные принципы организации, которые управляют событиями в данном социальном мире, и качество нашего субъективного участия в этих событиях, того значения, которое мы придаем им), которые хотел отразить Гофман в своем понятии «frame».

Собственно те же элементы имелись в виду и в качестве принципов построения «определений ситуации». Почему же Гофман стал отдавать предпочтение «фрейм-формату»? Прямого ответа он не дает, но косвенный можно вывести из рассуждений в начале книги. «Определение ситуации» перестало устраивать его не столько само по себе, сколько из-за прочно устоявшегося чрезмерного субъективистского крена в его трактовке другими людьми. Известная теорема Томаса, на «разных толкованиях» которой строятся разные направления символического интеракционизма («Если люди определяют ситуации как реальные, они реальны по своим последствиям»), по мнению Гофмана, верна по своему звучанию, но ложна по распространенному пониманию ее. Безусловно, определения ситуаций имеют реальные последствия, но они могут лишь очень незначительно повлиять на ход событий. Дело в том, что хотя люди почти всегда находят (верно или ошибочно) определения ситуации, они *не создают* эти определения. Скорее, их создает общество, а люди всего лишь прикидывают и оценивают, какой должна быть ситуация при данных условиях и с данными участниками, и затем действуют соответственно своим оценкам. По тем же соображениям Гофман, видимо, отказался и от злоупотребления театральными аналогиями, так как его читатели постоянно переоценивали творческие возможности людей (большой частью механически следующих до них найденным решениям) в фабрикации иллюзий, подтасовке условий взаимодействия и т.п., несмотря на его постоянные предостережения и оговорки, что жизнь – не театр, что сам этот театр – не целиком инсценированное действие, что многими связями и корнями он уходит в реальность (необходимость найти реальные и охраняемые от воров места для «вешалок», автомобильной паковки и т.п.). Результатом всего этого и стало смягчение контрастного выделения ситуативного «исполнения» (со всеми его театральными коннотациями-соозначениями: представление, спектакль, шоу и др.) из «деятельности» вообще.

Деятельность (опыт) стала универсальным объектом, в котором «форматный» анализ открывает множество слоев, в том числе и «исполнительский», «представительский» слой. Любой производный отрезок деятельности можно как бы «заклечь в феноменологические скобки» и анализировать его в полном соответствии с методологическим принципом символического интеракционизма, по которому все значения и фактические проявления человеческой деятельности должны объясняться в рамках процесса социального

взаимодействия как конечной инстанции. Взаимодействие не должно рассматриваться лишь как средство проведения влияния на его участников внешних сил. К примеру, если марксистская социология постаралась бы отыскать в межличностном взаимодействии прежде всего проявления объективной расстановки классовых сил и влияний, то для Гофмана «классовый формат» определил бы всего лишь один из «возможных миров», слоев реальности, содержащихся в данном отрезке деятельности. Нельзя также отдавать предпочтение в анализе и тем связывать себя предвзятыми представлениями о сущностной психобиологической природе человека. Для Гофмана анализ личных характеристик и процессуальных особенностей деятельности человека вообще должен начинаться не с копания в тайниках его души, а с анализа «внешних» процессов социального взаимодействия и лишь потом углубляться во внутренний мир индивида. В публикуемой главе приводится яркий пример, как даже роль матери, казалось бы, прочно связанная с биологической подосновой человеческого поведения, зависит от моды, являющейся результатом образцов социального взаимодействия, преобладающих в данный момент.

Разные миры и слои реальности в подвергнутом феноменологической редукции отрезке деятельности открываются благодаря «преобразованию» форм этой деятельности или «трансформации», причем эта организация имеет две основные разновидности: переключение и фабрикацию. «Переключение» (keying) предполагает неподдельные, искренние формы деятельности, транскрибируя их как бы в другую тональность, регистр, в другой мир значений и т.п. Метафорист Гофман прямо указывает на происхождение «переключения» от музыкального настроенного «ключа». «Фабрикация» охватывает подстроенные, подтасованные формы деятельности. Любой из этих возможных миров делают реальными для нас повороты нашего внимания и интереса (возможно выделение мира чувственных ощущений, мира научного восприятия, мира верований в сверхъестественное, мира безумных видений и т.д.). Так что надо иметь в виду, что Гофман в общем следует идеям основоположника прагматической философии У. Джемса о «множественности миров», и учитывать, что слово «мир» у него означает не мир-вселенную, а скорее частный, существующий на данный момент «мирок» конкретного лица, многими путями связанный с более обширным окружающим миром, включающим других конкретных индивидов, и уже необязательно ограниченных (как это было в первой книге) ареной деятельности, возникающей при встречах лицом к лицу. Анализу способов укоренения, ситуационной привязки этих частных мирков деятельности в широком мире и посвящена публикуемая глава.

Ковалев А.Д.

I. Введение

Как было показано ранее, любой произвольный отрезок деятельности будет восприниматься ее участниками в понятиях правил или предпосылок какой-то первичной схемы интерпретации опыта, будь то социального или природного, и такое восприятие деятельности обеспечивает определенную модель для двух основных видов преобразования формы человеческого поведения – переключения и намеренной фабрикации. Эти первичные схемы – не просто плод чистого разума, но в известном смысле они соответствуют способу организации одного из аспектов данной деятельности самой по себе – особенно деятельности, прямо требующей участия социальных агентов. В любом случае замешаны в деле какие-то организационные предпосылки, и они суть что-то такое, к чему человеческое познание так или иначе приходит, а не то, что это познание свободно творит или порождает. Если действующие индивиды понимают, что именно здесь работает, они подстраивают свои действия под это понимание и обнаруживают обычно, что пребывающий в движении мир

помогает такому подстраиванию. Эти организационные предпосылки (имеющие опору и в сознании, и в особенностях деятельности) я называю рамочным форматом данной деятельности.

Мы говорили также, что деятельность, смысл которой раскрывается в применении конкретных правил и в приспособительных действиях со стороны толкователя этого смысла, короче, деятельность, организующая предмет толкования для такого толкователя, сама по себе протекает в физическом и социальном мире. Всякими причудливыми словами можно рассказывать о разных фантастических местах, но эти слова могут быть сказаны только в реальном мире, даже в случае сновидений. Когда Сэмьюэлу Колриджу пригрезился сон о Кубла хане, он видел его в бодрствующем мире: начало и конец его сновидения должны были подчиняться законам «естественного течения» времени; чтобы уснуть, он должен был использовать кровать, потратить значительную часть ночи и, по всей видимости, принять какие-то лекарственные препараты; наконец, ему нужно было в достаточной мере контролировать окружающую среду, включая качество воздуха, температуру и уровень шума, чтобы сон не прерывался. (Подумайте о том, сколько всего надо правильно организовать, чтобы космонавт в полете смог поспать.) Именно это взаимосцепление элементов так или иначе форматированной деятельности в неинсценированном мире повседневности я намерен рассмотреть в этой главе.

Связь определенного рамочного формата с окружающим миром, в котором осуществляется это форматирование деятельности, сложна. Один пример. Два человека сидят за оборудованным для игры столиком и решают, играть ли им в шахматы или в шашки. С точки зрения порождаемого игрой мирка, в который они вот-вот погрузятся, разница между шахматами и шашками большая: будут развиваться две совершенно различные игровые драмы, требующие очень разных игровых характеров. Но если бы к двум игрокам захотели обратиться какой-нибудь незнакомец, работодатель, вахтер, полицейский или кто-то еще, то всем им будет вполне достаточно знать, что интересующие их мужчины заняты какой-то настольной игрой. Именно на эту относительно абстрактную категоризацию характера игры преимущественно опирается ее будничное включение в непосредственно окружающий мир повседневности, ибо в этом процессе участвуют такие факторы, как электрическое освещение, размеры помещения, потребное для игры время, право других людей открыто наблюдать и при определенных обстоятельствах прерывать партнеров, просить их отложить игру или физически передвинуться на другое место, право игроков говорить по телефону со своими женами, чтобы сообщить о задержке из-за необходимости довести игру до конца. Эти и множество других деталей, благодаря которым то, что происходит между игроками, должно занять какое-то место в остальном непрерывно движущемся мире, относительно независимы от того, какая именно игра идет. В общем, в работу окружающего мира включается прежде всего привычный способ переработки, преобразования формы восприятия опыта, а не само преобразованное таким образом. И все же вышеупомянутая независимость конечно не полна. Существуют такие следствия принципиального различия между шахматами и шашками, которые влияют на мир, внешний по отношению к внутренним процессам в ходе этих игр. Например, в Америке тех, кого видели играющими в шахматы, люди склонны считать культурно развитыми, – социальная идентификация, не гарантированная игрокам в шашки. Далее, если желающим играть доступен только один комплект оборудования для каждой из игр, то игроки, выбравшие одну из этих игр, могут вынудить следующую пару играть в другую. И разумеется, какую бы игру ни выбрали претенденты, они должны иметь предварительное знание о ней. (Они вообще также должны иметь желание играть и специальную готовность играть друг с другом, но эти психологические предпосылки не очень разнятся для шахмат и шашек.) Повторимся, что подобная аргументация может быть развита в отношении любой деятельности, требующей

самососредоточения и богатого воображения¹. Кувшин может быть наполнен любым содержимым, но его ручка вписывает этот кувшин в определенную ограниченную сферу реальности.

Заметим, что любое обсуждение вписывания конкретного исполнения какой-то игры в его окружение – любое обсуждение очертаний этого рамочного формата – ведет к очевидному парадоксу. Знание, которое игроки и не игроки имеют о том, где кончаются требования находящегося в движении мира и где начинаются требования самой игры, есть часть всего того, что играющие привносят из внешнего мира в исполнение игры, и все же это знание оказывается необходимой составной частью игры. Те самые пункты, в которых внутренняя деятельность затухает и эстафету перехватывает внешняя деятельность, – то есть очертания самого формата – обобщаются индивидом и включаются в его первичную схему интерпретации опыта, становясь тем самым, рекурсивно, дополнительной частью этого формата. В общем выходит, что те же предположения, которые обособляют какую-то деятельность от внешнего окружения, намечают также пути, неизбежно связывающие ее с окружающим миром.

Этот парадоксальный вывод оказывается неотменимым фактом жизни для тех, кто, как можно думать, занят другими делами. Когда два человека сходятся для игры в орлянку, мы вынуждены допустить хотя бы, что на месте ее проведения будет достаточно света, дабы игроки смогли разглядеть, какая сторона монеты выпала после ее подбрасывания. Но ничто не заставляет нас думать, будто окружающие обязаны обеспечить игроков закуской или туалетной комнатой. Если игра затянется, названные услуги, возможно, придется предоставить, ибо где бы и кто бы ни продолжал ее, по истечении определенного времени возникает не связанная с игровой ролью необходимость поесть, освежиться и т.п. И материальное оборудование может потребовать обновления. (Например, в казино должны быть предусмотрены средства на замену изношенных карт и чистку загрязнившихся фишек.) Но обратите внимание: очень часто обслуживание, необходимое людям и оборудованию (какая бы область деятельности ни поддерживалась сохранением их в рабочем состоянии), является общедоступной институциональной частью определенного, устоявшегося социального механизма. Фактически, игроки и оборудование, занятые в очень разных, но взаимопереплетающихся видах деятельности, могут совместно пользоваться одними и теми же местными источниками обслуживания. Вся эта рутинная работа обслуживания позволяет людям считать ход событий само собой разумеющимся и забывать о необходимых условиях своей деятельности, когда они удовлетворительны и не причиняют беспокойств. Но существует множество специальных проявлений человеческой деятельности, словно предназначенных напоминать нам о необходимой привязке наших действий, а именно таких, которые на

¹ У Зиммеля в эссе «Ручка» встречается образец такой аргументации применительно к произведениям искусства:

«Современные теории искусства усиленно подчеркивают, что основной задачей живописи и скульптуры является изображение пространственной организации вещей. Бездумно соглашаясь с этим утверждением, кто-то потом может так же легковесно не признавать, что пространство в картине – это структура, совершенно отличная от реального пространства, которое мы знаем по опыту. В действительном пространстве объект можно потрогать, а в живописном на него можно только смотреть; каждый уголок реального пространства переживается нами как часть потенциально бесконечного простора, тогда как пространство картины воспринимается как замкнутый в себе мир; реальный объект взаимодействует со всем океаном прошлого или неопределенных возможностей вокруг него, но произведение искусства обрывает эти нити, сплавляя в некое самодостаточное единство только элементы своего собственного содержания. Следовательно, произведение искусства живет вне реальности. Разумеется, оно черпает свое содержание из реальности, но из зрительных образов реальности оно строит некое суверенное царство. Хотя холст и краска на нем суть элементы реальности, произведение искусства, созданное из них, существует в идеальном пространстве, которое способно войти в контакт с реальным пространством не больше, чем цветовые тона могут соприкоснуться с запахами» (Simmel G. *Essays on Sociology, Philosophy and Aesthetics* / Ed. by K. H. Wolff. N. Y.: Harper & Row, 1965. P. 267).

длительное время отрывают нас от социально институционализированного обслуживания. Примерами их служат семейные туристические походы, альпинистские экспедиции и военная переподготовка в полевых лагерях. В таких случаях институциональный механизм должен быть «принесен» с собой; материально-техническое обеспечение деятельности обретает имя и становится осознанной проблемой и в такой же мере частью планов, как и основная сюжетная линия данного вида деятельности².

Вопрос о том, как форматированная деятельность встраивается в движущуюся реальность, по-видимому, тесно связан с двумя другими вопросами, а именно, как человеческую деятельность можно переключать в другой регистр и, особенно, как ее можно подстраивать, фабриковать. Сам Уильям Джемс дает нам повод для исследований в этом направлении.

Когда Джемс вопрошал: «При каких условиях мы признаем вещи реальными?» – он так или иначе допускал, что реальности самой по себе недостаточно, а тем, что реально принимается в расчет, служат некие принципы убедительности. (Его ответ, без сомнения, неадекватный, вызывает новый вопрос: каким образом мир представляется нам связным.) Далее можно бы поразмышлять о том, что эти принципы практически могут воплощаться в жизнь в случаях, когда то, что казалось прочным, имеющим продолжение, на самом деле его не имело, и в этом нет сомнения. Эта мысль сразу же порождает фундаментальную дилемму. Что бы в этом мире ни давало нам убежденность и чувство уверенности – это в точности то же самое, что будет использовано, чтобы ввести нас в заблуждение. Ибо, хотя подделать некое свидетельство может быть гораздо труднее, чем другие, и потому оно будет специально использоваться как тест для испытания на прочность реального срока существования интересующего нас явления, однако чем больше по этим соображениям люди станут полагаться на такое трудно подделываемое свидетельство, тем больше оснований у обманщиков стараться его подделать. Во всяком случае в жизни выходит так, что беспристрастное исследование по разоблачению обмана, в общем, оказывается и исследованием о том, как создавать правдоподобные фабрикаци. Парадоксально, но способы, которыми разные типы нашей деятельности включаются в жизнь, и способы возможной фабрикаци обманов во многом одинаковы. В результате, изучая процессы, легче поддающиеся сознательному анализу, а именно – имитирования и/или подделывания реальности, можно узнать, как формируется наше ощущение обыденной реальности.

II. Условности выделения эпизодов деятельности

1. Деятельность, форматированная определенным образом, – особенно коллективно организованная социальная деятельность – часто выделяется из непрерывного потока окружающих событий каким-то специальным набором пограничных знаков или некими условными скобками³. Во времени они могут проявляться до начала и после окончания

² Военные игры придают всему этому особый поворот. Так как материально-техническое обеспечение является весьма значительной частью всякого военного мероприятия, то его практическая организация должна потребовать внимания к стратегическим запасам, медицинскому обслуживанию, каналам связи и ко всем прочим условиям жизни затронутого сообщества. Но поскольку участники военных учений будут в известной мере оторваны от устоявшихся институциональных служб, то отсюда следует, что реальное обеспечение продовольствием, медикаментами, каналами связи и т.д. будет организовано отдельно и, более того, таким образом, чтобы избежать смешения с существующими вариантами организации такой деятельности. Заметим, что чем большее значение придается вопросам материально-технического снабжения и необходимости их практического решения при особых обстоятельствах учения, тем большими, вероятно, будут реальные запросы этой сферы деятельности.

³ К такому словоупотреблению требуется пояснение. В этой книге скобки выступают не как мой собственный эвристический прием, но претендуют быть частью организационных свойств текущего опыта, хотя, конечно, некоторые «отрезки» опыта, по-видимому, проявляют эти свойства намного яснее других, и похоже, что именно общество наделено ими в большей мере, чем «природа». Пишущие в феноменологической традиции применяют, термин «скобки», я думаю, в слегка ином смысле: не для обозначения естественных границ каких-то эпизодов деятельности, но скорее для наложенных на самого себя ограничений, которые ученый может

данной деятельности, а в пространстве могут устанавливать ее пределы – короче, это пространственно-временные скобки. Эти знаки подобно деревянной раме картины, предположительно не являются ни частью содержания соответствующей деятельности, ни частью мира вне этой деятельности, но скорее пребывают разом и внутри и снаружи – парадокс, который уже упоминался раньше и который нельзя обойти, потому что ясно его представить не легко. На первый раз можно поговорить об открытии и закрытии временных скобок и о постановке пространственных скобок. Знакомый пример – набор приемов, давно разработанных в драматургии Запада: в начале спектакля гаснут огни, звенит колокольчик и поднимается занавес; в конце – падает занавес и зажигаются огни. (Все это – знаки Запада, но подобные явления распространены шире. Так в китайском классическом театре используется деревянная трещотка, называемая «ки».)⁴ И в этом временном промежутке мир театральной игровой деятельности сужен до арены, заключенной в скобки физическими границами сцены⁵.

Существуют и другие очевидные примеры. Молоток председателя, призывающий собрание к порядку и объявляющий перерыв в заседании, – вполне понятный пример постановки временных скобок. Кинематографическое преобразование в процессе съемки

использовать, чтобы остановить протекание опыта для его анализа и тем самым отринуть любые предвзятые идеи об элементах или силах внутри этого приостановленного опыта. (Мой термин «отрезок» обозначает то, что может быть отсечено таким образом.) В подобных вопросах Гуссерль – авторитет, и потому процитируем его:

«Итак, я, следовательно, выключаю все относящиеся к этому естественному миру науки, – сколь бы прочны ни были они в моих глазах, сколь бы ни восхищался я ими, сколь бы мало ни думал я о том, чтобы как-либо возражать против них; я абсолютно не пользуюсь чем-либо принятым в них. Я не воспользуюсь ни единственным из принадлежащих к таким наукам положений, отличающимся даже полнейшей очевидностью, не приму ни одного из них, ни одно из них не предоставит мне оснований, – хорошенько заметим себе: до тех пор, пока они разумеются такими, какими они даются в этих науках, – как истины о действительном в этом мире. Я могу принять какое-либо положение, лишь после того как заключу его в скобки. Это значит: лишь в модифицирующем сознании, выключающем суждение, стало быть совсем не в том виде, в каком положение есть положение внутри науки: положение, претендующее на свою значимость, какую я признаю и какую я использую» (Гуссерль Э. Идеи к чистой феноменологии и феноменологической философии. Т. 1 Общее введение в чистую феноменологию / Пер. с нем. А.В. Михайлова. М.: Дом интеллектуальной книги, 1999. С. 73. Курсив оригинала).

К этому можно добавить, что, хотя авторитетное суждение Гуссерля, по-видимому, вполне приемлемо в исследованиях устоявшихся, успешно работающих наук, его применение к общественным наукам порождает определенные, весьма понятные трудности, так как эти ученые сами претендуют на участие в формулировании социологических понятий, анализируя их социальные предпосылки и т.д. Заключать в скобки сделанное этими практиками фактически означает притязание сделать то же самое лучше.

⁴ Shutaro Miyake. Kabuki Drama. Tokyo: Japan Travel Bureau, 1964. P. 71.

⁵ У Мери Дуглас читаем:

«Для любого из нас повседневное использование символов имеет несколько значений. Оно дает механизм фокусирования, метод мнемоники, и позволяет контролировать опыт. Для начала рассмотрим фокусирование, для которого ритуалы задают рамки. Обозначенное время или место порождает специфические ожидания точно так же как всем известное «жили-были» настраивает нас на восприятие волшебной сказки. Мы можем вспомнить множество подобных мелочей из своего опыта, так как самое незначительное действие способно быть значительным. Определение рамок и вписывание в них ограничивает опыт, включает в него желательные темы или перекрывает путь вторжению нежелательных» (Douglas M. Purity and Danger. L.: Routledge & Kegan Paul, 1966. P. 62-63; Дуглас М. Чистота и опасность. Анализ представлений об осквернении и табу / Пер. с англ. Р. Громовой под ред. С. Баньковской. М.: Канон-пресс-Ц, Кучково поле, 2000. С. 100).

Затем Дуглас цитирует высказывание Марион Милнер, которое я продолжил по оригиналу:

«Я давно интересовалась ролью рамы, пытаюсь понять некоторые психологические факторы, помогающие, либо мешающие рисованию картин. Рама выделяет совсем иной род деятельности, заключенной внутри ее, из реальности вне ее. Но подобно этому некая пространственно-временная рамка тоже выделяет из мира повседневности особого рода реальность психоаналитического сеанса. И в психоанализе именно существование этой рамки делает возможным полное развитие той творческой иллюзии, которую психоаналитики называют перенесением /чувств пациента на психотерапевта/ (Milner M. The Role of Illusion in Symbol Formation // New Directions in Psycho-analysis / Ed. by Melanie Klein et al. L.: Tavistock Publications, 1955. P. 86).

настоящей, реальной деятельности несомненно имеет отчетливые пространственные ограничения, обусловленные фокусным расстоянием объектива:

«Обычный человеческий взгляд, широко охватывающий лежащее перед ним пространство, не существует для режиссера. Он видит и строит только в том условном куске пространства, которое может охватить объектив съемочного аппарата, и более того, это пространство еще как бы обведено твердо выраженным контуром, и уже сама ясная выраженность этого контура рамки неизбежно обуславливает строгость композиции пространственных построений. Нечего и говорить о том, что актер, снимаемый с большим приближением аппарата, сделав движение, слишком большое по захватываемому им пространству, может попросту выйти из поля зрения аппарата. Если, предположим, он сидит с наклоненной головой и эту голову нужно поднять, то, при известном приближении аппарата, уже ошибка актера на 10 сантиметров может оставить для зрителя на экране только один подбородок, все же остальное будет за пределами экрана, или, как технически говорят, «срезано». Этот элементарный пример грубо подчеркивает еще раз неизбежность точного пространственного рисунка любого движения, которое режиссер снимает. Конечно, это требование относится не только к крупному плану. Снять вместо человека две трети его является грубой ошибкой, распределить же снимаемый материал и его движения по прямоугольнику кадра так, чтобы все отчетливо и ясно воспринималось, построить все так, чтобы прямоугольный контур экрана не мешал композиции, а совершенно включал в себя найденное построение – это является достижением, к которому стремятся режиссеры экрана»⁶.

Условности, выделяющие отдельные эпизоды, также отмечают как начало какого-нибудь театрального «марафона», или серии представлений, так и его окончание, выражаясь в характерном поведении во время «ночей открытия» и «ночей закрытия»: поздравительных телеграммах, море цветов и т.п. Эта «постановка скобок» несколько более высокого порядка сложности, по-видимому, слабо систематизирована⁷.

Сигналы переключения внимания, без сомнения, тоже явные примеры из практики деления какой-то деятельности на эпизоды. Например – обсуждение Бейтсоном сигнала «представление начинается». (Более тонким делом оказывается «постановка скобок» вокруг умышленных фабрикаций, поскольку в их природе заложено, что обманщик начинает игру еще до появления на сцене простофили и заканчивает ее сразу же, как только тот покинул ее. Этим достигается эффект того, что простак не подозревает о ситуации поддельной реальности, в которой загодя ожидается его появление, не знает о фабриках, которые специально для него позаботились неправильно «расставить скобки».) Многие виды спорта и спортивные игры превратили в церемонии правила такой «расстановки скобок», сделав это частично с целью обеспечения спортивной «честности», то есть равных шансов для всех соревнующихся; эти упорядочивающие акценты в игре кое-что дают для обобщенного понимания условностей, применяемых при «расстановке скобок» в человеческой деятельности. Таковы церемонии вбрасывания шайбы в хоккее, введения мяча в игру с центра поля в футболе, быстрое рукопожатие в борьбе и короткое соприкосновение перчатками в боксе.

2. Хотя «скобки», которые я упомянул, возможно, самые очевидные случаи и имеют отношение преимущественно к развлекательной стороне жизни, все же нельзя позволить этим примерам увести наше внимание от областей, где «расстановка скобок» делает свою повседневную работу. Математики, к примеру, используют элегантный и сильный прием заключения отдельных частей формулы в простые типографские скобки (), устанавливающие границы отрезка любой длины, в котором все составляющие должны быть

⁶ Пудовкин В.И. Кино-режиссер и кино-материал. М.: Кинопечать, 1926. С. 32-33. (Pudovkin V. Film Technique and Film Acting / Transl. by I. Montagu. N. Y.: Bonanza Books, 1959. P. 80-81.)

⁷ «Ночи закрытия» исполнителей джаза описаны в газетной колонке Ральфа Глисона, озаглавленной по этому случаю «Они выходят оттянуться в свинге» (San Francisco Chronicle. February 27, 1963).

преобразованы одним и тем же способом в одно и то же время, а место слева от скобок – это место знака действия, таким образом любое математическое выражение, поставленное на это место, определяет, каков будет характер преобразования. Число строк в интервале, ограниченном скобками, означает число строк математических символов, которые все должны быть названы при чтении формулы в скобках. Это выглядит так, словно все наши человеческие способности думать и действовать в определенном формате, некой исходной рамки организации опыта, представлены в предельно сжатой и очищенной от всего лишнего форме – наподобие штриховой гравюры по карандашному наброску. Несколько менее изящны, но более важны практические приемы расстановки «скобок» в синтаксической организации предложений, где место в последовательности слов, знаки пунктуации и категория слова в качестве части речи определяют, какие именно слова (одно или несколько) должны быть вместе взяты в фигуральные и буквальны скобки и какую синтаксическую роль должна исполнять сформированная таким образом единица предложения. Заметим, что и в математике, и в обычном языке (где скобки могут принимать свою «буквальную» форму, как я в данный момент и демонстрирую) знак-оператор и материал в скобках, который он преобразует, сами как целое могут быть заключены в скобки и подвергнуться новому преобразованию. Это обычная практика в системе обозначений и операций символической логики.

«Заключение в скобки» становится очевидной и банальной операцией в случаях, когда предстоящая деятельность сама по себе деликатна или уязвима по отношению к определению ситуации и с большой вероятностью способна породить напряжения в истолковании рамок субъективного включения в ситуацию. Так, ранее уже говорилось о возможных приемах, которые используются при медицинском лечении нагого женского тела и в обращении с тем же объектом в натуральных классах живописи, для ясного определения перспективы поведения всех присутствующих. В обоих случаях одевание и раздевание женщины – дело интимное и чаще всего происходит в уединении, а нагому телу позволительно внезапно появляться на сцене действия, и столь же быстро исчезать с помощью специальной накидки, снятие и надевание которой ясно отмечают границы эпизодов функционального обнажения и наверняка способствуют стабилизации неких рамок естественного вхождения в ситуацию при сложных обстоятельствах. Этому делению потока деятельности на эпизоды, конечно же, может помочь архитектура, предусматривающая открытые авансены и скрытые от посторонних закулисные помещения:

«В закулисной зоне «Стрип-отеля» разгуливают, может быть, самые роскошные и красивые девушки в мире – одни полуодетые, другие совсем раздетые. При виде постороннего мужчины за кулисами они стремглав разбегаются в поисках укрытия. Девушки, которые маршируют по всей сцене почти нагими, краснеют и прикрывают груди во время перехода со сцены в артистическую уборную. “Дайте пройти, в конце концов, ведь я же вас не знаю!” Странно слышать это от тех самых созданий, которые еженощно выставляют себя голыми перед жадными взглядами сотен незнакомых мужчин. “Но это же совсем другое дело, когда ты не на сцене! Это так лично...”»⁸.

Рассмотрим теперь возможность, когда «скобка», отмечающая начало конкретного вида деятельности, имеет большее значение, чем «скобка» в его конце. Ибо (как уже говорилось применительно к системе обозначений в математике) вполне разумно предположить, что «скобка начала» будет не только открывать эпизод, но и открывать некое «окно» для сигналов, которые станут передавать информацию и определять вид преобразования, какой надо проделать с материалами в пределах эпизода. Очевидно, что в подобных случаях принято пользоваться терминами «вступление», «предисловие», «предварительные замечания» и т.п. Так, в возможно самом знаменитом прологе из всех существующих (у Шекспира к «Генриху V») мы имеем явное откровение, обнажение

⁸ Hertz M. Las Vegas Sun. September 14, 1961.

театральной формы, театрального формата поведения. В самом ли деле эти тридцать четыре строки так уж драматически хороши и успешно выполняют то, что им предназначалось, – все это проблематично. Но, тем не менее, они дают удивительно ясное изложение специфической задачи театрального формата и в то же время изящно иллюстрируют парадокс, что пролог есть одновременно часть следующего за ним драматического мира и комментарий к нему со стороны⁹. «Заключительные скобки», по-видимому, несут меньшую нагрузку, в чем, возможно, нашел отражение тот факт, что в общем гораздо легче положить конец использованию какой-то формы, чем найти и установить ее. Но эпилоги все же пытаются подытожить произошедшее, придавая этому подходящую собственную форму. Более важен случай, где любителям подаваемых по-коммерчески чужих переживаний нужна уверенность, что прекращение передачи ставит точку в тот момент, когда возможно правильно оценить полное значение прошедшей драмы, а не просто, когда авторов одолели технические трудности.

О «калибровочных» функциях условностей выделения эпизодов в потоке какой-либо деятельности можно сделать два замечания. Во-первых, как подсказывает введение к данной главе, использующий эти приемы часто полагается, видимо, на их способность заново форматировать все, что идет после них (или до них, в случае эпилогов), и, кажется, не обманывается отчасти в этом ожидании. Так, ведя беседу или читая лекцию, оратор нередко начинает с замечания, как он рад встрече с присутствующими и как недостоин он полученного приглашения; он слегка подтрунивает над собой, чтобы показать, что роль, которую он собирается взять на себя, не ввела его в искушение завышенной самооценки; а затем он коротко обрисовывает распределение запланированного лекционного материала в более широком контексте и обосновывает избранный стиль изложения. В случае успеха, этот ряд рутинных действий вносит ясность в понимание возможных форм всего того, что должно последовать дальше, обычно прибавляя еще нюанс, а именно: понимание аудитории, что предлагаемое ее вниманию – это лишь одно специальное «измерение» оратора, а не полное выражение всего, на что он способен. (Действительно, некоторые разговоры, видимо, в основном демонстрируют, что говорящий может твердо стоять на собственных ногах и вне контекста разговора, и тем самым он предлагает некую модель этой частной разновидности человеческого самообладания.) Когда разговор сам по себе бесплоден (что случается часто), слушатели обычно обнаруживают, что говорящего не так-то легко отделить от его речей, а его усилия при форматировании общей беседы – это пустая потеря времени в определенном формате данного разговора и, кроме того, они подрывают ту организующую роль, которую должен был исполнять этот формат. Аналогично, сама способность заключительных слов по-новому осветить все сказанное до них, добавив какой-то решающий мазок, в состоянии подтолкнуть оратора к дальнейшим попыткам в этом роде, порою с последствиями, которые еще более разрушают рамки разговора.

Во-вторых, поскольку «вступительные замечания» способны задавать сценическую постановку и формат последующего речевого взаимодействия, это объясняет, почему «получение первого слова» можно считать стратегически важным фактором. Пример:

«Наше единственное опасное столкновение с законом произошло, когда однажды мы смывались после кражи: мы втроем сидели в авто спереди, а заднее его сиденье было завалено краденым барахлом. Вдруг мы увидели вынырнувшую из-за угла полицейскую машину, она приближалась и явно шла за нами. Они просто патрулировали. Но в зеркале заднего вида мы наблюдали их разворот на 180 градусов и поняли, что они скоро подадут

⁹ Одной из иллюстраций исторических изменений, произошедших в новые времена в приемах форматирования театральной деятельности, является упадок пролога. Хотя еще бывают драмы, которые использует вступления наподобие пролога, но для этого может потребоваться намеренный архаизм (как в пьесе Уайлдера «Наш городок») или пародийный трюк (как в пьесе Гелбера «Связь»). Все выглядит так, словно мы потеряли надежду добиться успеха с помощью пролога, этого старого театрального приема.

нам сигнал остановиться для проверки. Они засекли нас мимоходом, как негров, зная, что неграм нечего делать в этот час в этом районе.

Положение было пиковое. Вокруг много грабили, мы знали, что наша банда далеко не единственная, куда там. Но я знал также, что редко кто из белых даже про себя допустит возможность, что негр способен перехитрить его. Еще до того как они включили мигалку, я велел Руди остановиться. Я повторил то, что уже проделал однажды: вышел из машины и зашагал в их направлении, призывно махая рукой на ходу. Когда они остановились, я был возле их машины, а не они у нашей. Я спросил их, путаясь в словах, как и подобает смущенному негру, не могли бы они подсказать, как попасть в Роксбери. Они ответили, и мы мирно разъехались по своим делам»¹⁰.

3. Теперь рассмотрим случай, когда условности,делящие человеческую деятельность на эпизоды, касаются предписанных общедоступных средств, благодаря которым индивид, намеревающийся активизироваться в конкретной роли или партии и включиться в какую-то деятельность, в состоянии показать другим, что он так и поступает. Выше уже было прокомментировано, как разговаривающие берут на себя ораторскую роль. В случае гипнотического транса (или, по меньшей мере, того, что некоторые считают гипнотическим трансом) приемы для обозначения начала и окончания данного эпизода оказываются также и приемами, символизирующими переход субъекта в гипнотическое состояние, в иной характер, и его возвращение «в себя». Превращение человека в одержимого духом в вудуистских обрядах дает очень яркий пример такого принятия иного характера:

«Объяснение мистического транса, даваемое приверженцами культа вуду, просто: “лоа” /дух/ вселяется в голову человека, сперва выгоняя из нее “большого доброго ангела” (gros bon ange) – одну из двух душ, которые носит в себе каждый. Это изгнание доброй души – причина корчей и судорог, характерных для начальных стадий транса...

Симптомы вступительной фазы транса – явно психопатологические. В основных чертах они точно соответствуют стандартным клиническим описаниям истерии. Одержимые производят вначале впечатление потерявших контроль над своей двигательной системой. Сотрясаемые спазматическими конвульсиями, они скачут как на пружинах, неистово кружатся, вдруг застывают и неподвижно стоят в наклонном положении, раскачиваются во все стороны, шатаются и спотыкаются на ходу, выпрямляются, снова теряют равновесие, – пока окончательно не впадут в полубессознательное состояние. Иногда такие приступы начинаются внезапно, иногда их предвещают некоторые предупредительные знаки: отсутствующее или мученическое выражение глаз, легкая дрожь разных частей тела, прерывистое дыхание или капли пота на лбу – черты лица становятся напряженными или страдальческими.

В некоторых случаях трансу предшествует сонливость. Одержимый не в состоянии держать глаза открытыми и кажется с трудом преодолевающим непонятную вялость во всем теле. Долго такое состояние не сохраняется и внезапно сменяется резким пробуждением, сопровождаемым судорожными движениями»¹¹.

Интересно отметить, что поскольку европейский театр предполагает зрителей, как по волшебству, сразу посвященных в события на сцене, постольку первоначальное вхождение в их мир – это именно то, чего не будут показывать изображаемые на сцене персонажи, так как в конечном счете они уже предполагаются готовыми и равными самим себе. (Как говорилось раньше, пауза, которую может держать артист в ответ на аплодисменты при его первом

¹⁰ The Autobiography of Malcolm X. N. Y.: Grove Press, 1966. P. 144-145.

¹¹ А. Метро подытоживает это описание следующим образом: «Эта предварительная фаза может быстро заканчиваться. Одержимые резво пробегают весь диапазон нервных симптомов. Они трясутся, шатаются, производят еще какие-то механические подергивания и потом неожиданно, сразу – впадают в полный транс. Но это может случиться даже и без такой преамбулы, когда церемония в полном разгаре и требует быстрого вхождения в нее конкретных божеств и духов» (Metraux A. Voodoo in Haiti / Transl. by Hugo Charteris. N. Y.: Oxford University Press, 1959. P. 121).

появлении, представляет собой временную отсрочку начала роли, в которой он будет выступать, а не период ее становления.)

4. Подобно всем другим элементам форматирования (организационного оформления) какой-то деятельности, различия в характере условностей выделения эпизодов деятельности обнаруживаются не только при межкультурных сравнениях, но и внутри какого-то одного общества в разные периоды его существования. Для изучения различий второго рода подходящий общий случай дают изменения с течением времени в формате театральной организации в обществах западного типа, а конкретный пример – изменения в свойственных этому формату условностях выделения эпизодов. Так, введение в 1817 г. газового освещения в лондонских театрах и позже, в 60-х гг. XIX в., электроискровых запалов для газа сделало технически возможным быстрое тушение и зажигание светильников в зале и тем самым создало удобный сигнал для извещения аудитории о начале и окончании действия в рамках организации театрального зрелища¹². Описаны также изменения в использовании занавеса для обозначения начала и конца театральных сцен:

«Разработка специальных устройств для быстрой смены исполняемых сцен подводит нас к одному любопытному моменту, которым, как ни странно, до сих пор пренебрегали. Вплоть до последней четверти XIX в. перемена сцен театрального действия происходила на глазах публики. Это было частью развлечения. Люди получали удовольствие, наблюдая, как одна сцена словно по волшебству превращается в другую. Всего лишь несколько десятилетий назад эта традиция жила в буффонадных и пантомимических сценах театрального перевоплощения. Тогда почему же имели занавес древнеримский театр и театры эпох Ренессанса и Реставрации? Они использовали его просто для сокрытия от глаз зрителей самой первой мизансцены и как сигнал о конце представления. Почти до 1800 г. в Англии не было никаких “актовых занавесов”, то есть опускания занавеса по окончании очередного акта пьесы: публика узнавала о конце акта, когда все актеры уходили со сцены. И в той же Англии до 1881 г. не было никаких занавесов, скрывающих перемены сцен в течение акта. В тот год Генри Ирвинг ввел так называемый “сценовой занавес”, чтобы зрители не видели 135 рабочих сцены, реквизиторов и осветителей-газовиков, задействованных в больших эпизодах пьесы “Корсиканские братья”».¹³

5. Рассмотренные выше открывающие и закрывающие дело временные «скобки» иногда полезно называть «внешними», так как во многих видах деятельности встречаются «внутренние скобки», то есть «скобки», которые отмечают короткие паузы, перерывы в процессе деятельности, – перерывы, переживаемые как время вне ее рамок, вне ее формата. Классический пример снова дают нам антракты между сценами или актами (действиями) в пьесе. В качестве других примеров можно привести перерывы между школьными четвертями, половинами игры, раундами в боксе, периодами нахождения у власти, сезонами сбора урожая и т.п.

Сами по себе «внутренние скобки» существенно разнятся по структуре их постановки. Встречаются «скобки», которые заранее встроены в процесс деятельности и запрограммированы обозначать временную паузу – перерыв на отдых или на пересменку – для всех, кроме немногих специальных участников, как в случае седьмой подачи на заключительном этапе игры в бейсбол или второго антракта в спектаклях. Существуют и незапрограммированные «скобки», которыми позволено пользоваться конкретным индивидам и которые означают право на мгновение задерживать общую работу, чтобы уладить нечто, определяемое как внезапная острая личная нужда. Следует ожидать, что между запрограммированными, коллективно применяемыми «внутренними скобками» и незапрограммированными, индивидуально используемыми, можно найти и некие

¹² Macgowan K., Melnitz W. Golden Ages of the Theater. Englewood Cliffs (N.J.): Prentice-Hall, 1959. P. 113.

¹³ Ibid., p. 31. Об истории использования занавеса в древнеримской драме см.: Beare W. The Roman Stage. L.: Methuen & Co., 1964. Appendix E «The Roman Stage Curtain». P. 267-274.

промежуточные формы «скобок», и, более того, – историю перехода от одной из этих разновидностей к другой. Показательный пример такого перехода – фактическая институционализация в современных учреждениях «кофе-брэйка» (а в Англии, наиболее «продвинутой» в этом отношении стране, – на «легкий ланч в 11 часов»).

Виды деятельности варьируют соответственно разновидностям допускаемых ими «внутренних скобок». В игровом взаимодействии в теннисе больше времени тратится на перерывы, чем на эпизоды непрерывной игры, хотя во многих видах спорта, раз уж мяч попал в игру, в ней не так легко устроить перерыв. Сексуальное взаимодействие практически сплошь состоит из возобновления игры после взятых тайм-аутов, причем исключительное право устанавливать время передышки между половыми актами предоставляется природе.

Помимо этих различий между разными видами деятельности в одной культуре, несомненно существуют и общие межкультурные. Грегори Бейтсон снабжает нас подходящей иллюстрацией таких различий:

«Формальные методы социального воздействия на людей (ораторское искусство и т.п.) почти полностью отсутствуют в культуре острова Бали. Требовать продолжительного внимания от отдельного человека или эмоционально давить на группу считается чем-то безвкусным, да и практически невозможно, так как в подобных обстоятельствах внимание «жертвы» быстро рассеивается. На Бали не приняты даже такие относительно длинные речи, которые понадобились бы в большинстве других культур для рассказывания жизненных историй. Как правило, тамошний рассказчик останавливается после одной-двух фраз и дожидается, пока кто-то из слушателей задаст ему конкретный вопрос о какой-нибудь подробности рассказываемого сюжета. Только тогда он ответит на этот прямой вопрос и таким образом продолжит прерванное повествование. Очевидно, что эта манера рассказывания с ее неадекватным и запоздалым взаимным реагированием разгоняет потенциально накапливаемое межличностное напряжение»¹⁴.

Достоин рассмотрения отношение между условностями расстановки «скобок» и ролевыми циклами деятельности. Если точкой отсчета взять любой конкретный случай организованной социальной деятельности, то характер ее «внешних скобок» будет зависеть (частично) от наличия в ней «скобок внутренних». Но с другой точки зрения, более широкой и объемной, эти «внешние скобки» могут быть увидены и как «внутренние». Так, ритуал прощания, которым заканчивается день в учреждении, можно рассматривать как «внешнюю скобку» с точки зрения трудового вклада этого дня, но тот же ритуал видится также и как «внутренние скобки» в перспективе долговременных трудовых обязательств, например, постоянного исполнения определенной рабочей роли, которое прерывается в конце каждого буднего дня, на выходные дни в конце недели, на праздничные и отпускные дни. Подобным же образом на каждое исполнение пьесы с чьих-то позиций можно смотреть как на часть целого, какого-то растянутого во времени процесса – «марафона», – и тогда ритуалы поднятия и опускания занавеса в каждом спектакле становятся чисто «внутренними скобками», за исключением, конечно, таких ритуалов в ночь открытия и в ночь закрытия исполнительского «марафона».

б. Рекомендуемое здесь различие между «внешними» и «внутренними скобками» – только начало дела. Фактически потребуется ряд структурных мероприятий. Во-первых, во многих видах коллективной деятельности, вроде вечерних театральных представлений, процесс «расстановки скобок» связан с процессом подготовки и ориентирования участников, а также с достижением определенных более или менее стандартизированных результатов до и после реального исполнения конкретной деятельности. Тогда нам понадобится различие (которое прояснил Кеннет Пайк) между собственно «игрой» и публичным «спектаклем», то есть между самим по себе драматическим действием, или спортивным состязанием, или

¹⁴ Bateson G. Bali: The Value System of a Steady State // Social Structure: Studies Presented to A. R. Radcliffe-Brown / Ed. by Meyer Fortes. Oxford: Oxford University Press, 1949. P. 41.

свадебной церемонией, или судебным разбирательством и той социальной данностью или тем общим делом, в которое встраиваются вышеназванные процедуры¹⁵. (Несколько утрированным примером этого различия может служить инструктаж и подготовительная разминка, проводимые организатором ток-шоу для студийной аудитории перед окончательной записью.) Из этого следует, что временный выход из какого-то продолжающегося формализованного мероприятия (выход, проявляющийся в определенных «внутренних» процессах и событиях) не обязательно становится выходом из конкретного социально значимого «дела», в контексте которого имеют свое место эти события и процессы. Так, если взять театральный пример, то как раз в моменты, когда аудитория еще не начала смотреть и слушать или временно перестала активно следить за игрой на сцене, или только что полностью закончила просмотр – именно тогда способности зрителей как театралов будут иметь определяющее влияние на организацию деятельности. Отметим, что переход от «спектакля» к «игре» – от процесса оформления событий к оформленным событиям – как правило, связан с изменением организационной основы, формата деятельности, причем оформленные, или внутренние события обычно порождают более ограниченный и строже организованный мир, чем мир, даруемый нам повседневной жизнью. Во всяком случае, при ближайшем рассмотрении формальных социальных процедур можно ожидать, что формализованные «открывающие» и «закрывающие скобки» сами будут заключены в неформальные «скобки», свойственные той социальной данности, в которую внедрялись упомянутые процедуры¹⁶.

¹⁵ Pike K.L. Language in Relation to a Unified Theory of the Structure of Human Behavior. Glendale (Calif.): Summer Institute of Linguistics, 1954. Part 1. P. 44-45.

¹⁶ В структурном отношении интересен случай, когда сама внутренняя, «официальная» деятельность не формализована. Некоторые ученые-любители вечеринок, вероятно, будут настаивать, что с появлением первого гостя «веселье» не начинается, а во многих случаях оно может вообще никогда не начаться, – участники никогда, как говорится, «не оторвутся» и не получают ожидаемого удовольствия. В самом деле, признание того, что поздние прибытия одних гостей могут накладываться и совпадать с ранними уходами других, подразумевает, что никаких формальных процедурных уточнений в естественное течение событий так до конца и не будет внесено и что, возможно, никаких определенных внутренних процедур и не требуется. Легко выделить начальные последовательности событий вечеринки, например: (1) готовность хозяев к приему гостей; (2) прибытие первого гостя (в одиночку или парой), позволяющее частично освоиться с ролью гостеприимного хозяина; (3) следующие прибытия, предоставляющие первым гостям возможность поговорить не только с хозяйками и попутно иногда навязывающие в собеседники лиц, с которыми в иных обстоятельствах эти гости не захотели бы проводить свое время; (4) прибытие достаточного количества гостей для формирования из них отдельных кружков, выбор которых дает известные возможности для самовыражения. Заключительные фазы тоже можно различить. Но, так сказать, середину игры определить трудно. Тем не менее Фрэнсис Скотт Фицджеральд, тонкий знаток формы, придерживается в этом вопросе позиции Кеннета Пайка:

«Бар работает всюду, а по саду там и сям проплывают подносы с коктейлями, наполняя ароматами воздух, уже звонкий от смеха и болтовни, сплетен, прерванных на полуслове, завязывающихся знакомств, которые через минуту будут забыты, и пылких взаимных приветствий дам, никогда и по имени друг другу не знавших.

Огни тем ярче, чем больше земля отворачивается от солнца; вот уже оркестр заиграл золотистую музыку под коктейли, и оперный хор голосов зазвучал тоном выше. Смех с каждой минутой льется все свободней, все расточительней, готов хлынуть потоком от одного шутливого слова. Кружки гостей то и дело меняются, обрастают новыми пополнениями, не успеет один распасться, как уже собрался другой. Появились уже непоседы из самоуверенных молодых красоток: такая мелькнет то тут, то там среди дам посолондней, на короткий, радостный миг станет центром внимания кружка – и уже спешит дальше, возбужденная успехом, сквозь прилив и отлив лиц, и красок, и голосов, в беспрестанно меняющемся свете.

Но вдруг одна такая цыганская душа, вся в волнах чего-то опалового, для храбрости залпом выпив выхваченный прямо из воздуха коктейль, выбежит на брезентовую площадку и закружится в танце без партнера. Мгновенная тишина; затем дирижер галантно подлаживается под заданный ему темп, и по толпе бежит уже пущенный кем-то ложный слух, будто это дублерша Гильды Грей из варьете «Фолли». Вечер начался» (Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби // Фицджеральд Ф.С. Великий Гэтсби. Ночь нежна. Романы / Пер. с англ. Е. Калашниковой. М.: Издательство «Правда», 1989. С. 50).

Если вслед за Фицджеральдом утверждать, что светский вечер «начался», когда свершилось эмоциональное заражение участников, которое выводит их из погруженности в себя к общему приятному настроению, то при желании можно доказать, что и неформальные вечеринки и встречи людей для игры в бридж равно способны

Тогда различие между спектаклем и игрой (если воспользоваться терминологией Пайка) осложняет проблему «расстановки скобок», создавая возможность резко расходящихся восприятий в зависимости от того, интересуется ли нас преимущественно внешняя либо внутренняя сфера деятельности. Одна иллюстрация очевидна: это восприятия роли ведущего на концерте камерной музыки.

Как «спектакль», как некое общественное событие концерт камерной музыки начинается, видимо, задолго до выхода музыкантов на сцену. Если концерт собираются передавать по радио, сохранится кое-что из того же образца организации концертов. Диктору-ведущему надо будет что-то говорить в отрезке времени между точкой, когда начинается радиотрансляция, и точкой, когда музыканты начинают играть (а также и во время перерывов). Он может выдавать в эфир «подходящий» комментарий или разговорную версию того, что происходит в зале. Но чем-то заполнить паузы он должен, так как радиодикторы исповедуют в общем разумное убеждение, что «мертвый эфир» не допустим. (Довод здесь прост: словесное «обрамление» концерта, или задание его формата, необходимо, чтобы слушатели могли в любое время включиться в ситуацию радиотрансляции. Без поддержания непрерывности звучания слушающие концерт сначала в случае паузы могли бы подумать, что что-то случилось с их радиоприемником или с радиостанцией, а только что подключившиеся слушатели – что на этой радиоволне ничего не передают.) Но радиокomentатор, ведущий прямую передачу из концертного зала, не в состоянии с достаточной точностью определить момент, который музыканты изберут для выхода на сцену, а после этого момент, когда они начнут исполнение. Поэтому ведущему приходится готовить многовариантный сценарий, который по мере надобности он мог бы сокращать или растягивать. Если по какой-либо причине музыканты откладывают начало исполнения на слишком долгое время, ведущий концерта может попасть в трудное положение, будучи вынужденным много раз повторять то, о чем он уже говорил, но понимая, что такое его поведение все же предпочтительнее глухого молчания. Далее наступает момент (и это время наиболее напряженного ожидания), когда музыканты начинают настраивать свои инструменты, что сопровождается характерным нестройным шумом, и тогда ведущий, если захочет, может подключить аудиторию к микрофону на сцене. Ибо хотя в эту минуту исполнители все еще не приступили к своему главному делу – музыке, они слышно для всех делают то, чего требует данное общественное мероприятие, а именно: подают знаки, что коллективное собрание движется в правильном направлении и определенные «внутренние события» начнутся в должное время. Звуки настройки, которые для их производителей имеют инструментально-техническое значение, радиослушателями могут восприниматься как ненужные, но ведущий может ценить эти радиоскрипы просто за то, чем они являются в действительности: материальной частью данного общественного мероприятия. К этому можно добавить, что настройка музыкальных инструментов – это сигнальный знак того, что исполнение музыки («внутреннее» событие) очень скоро начнется. Мертвая тишина, которая наступает сразу после настройки, момент, когда музыканты затихают перед пюпитрами и концентрируют внимание на своих партитурах,

обеспечить, чтобы «спектакль» состоялся; но только сходы для игры в бридж могут гарантировать, что в этих «скобках» будет осуществляться некая внутренняя деятельность. Фактически, то что отличает разные неформальные общественные собрания от организованных общественных мероприятий с каким-то формализованным ядром – это ненадежность запуска нужной внутренней деятельности. Учитель в классе, чиновник в суде, председательствующий на собрании клуба более или менее в состоянии призвать собравшихся перейти от предельных «разговорчиков» к делу, но хозяин не может заставить своих гостей веселиться в приказном порядке. (Учтем, однако, что хотя эти ведущие в разных областях деятельности часто могут принимать решения о прекращении официальной части занятий, они, скорее всего, имеют значительно меньше власти ограничивать и направлять послеофициальные занятия и совсем выходить из данного спектакля.) Одно из исследований перехода от предельной суеты к организованным деловым процедурам (см.: Turner Roy. Some Formal Properties of Therapy Talk // *Studies in Social Interaction* / Ed. by D. Sudnow. N.Y.: The Free Press, 1972. P. 367-396).

готовые мгновенно влиться в уже совсем близкое, требующее строгой координации коллективное действие, – это второй и последний знак перед самым его началом. Вместе взятые, эти два знаковых события явно играют служебную роль некой «скобки начала», но, конечно, начала музыкального исполнения, а не начала публичного мероприятия.

По ходу изложения читатели могли заметить, что одно из явлений, которое мы пытаемся описать с помощью обыденного, ненаучного термина «формальность», – это какое-то общественное собрание, в котором наблюдаются большой временной разрыв и большие различия по характеру между внешним, неформальным начальным этапом и внутренним, формальным началом, и где, судя по всему, существует сильная тенденция защищать самую важную, самую сокровенную часть коллективного действия. Предельно выражены такие тенденции на ежегодных соревнованиях по борьбе сумо в Японии: дневной турнир может начаться в 14 часов 30 минут, закончиться в 17 часов 30 минут и вместить в себя двадцать схваток, каждая из которых продолжается всего около десяти секунд; остальное время занимают сложные ритуалы, сопровождающие собственно борьбу¹⁷. Еще один пример дает нам церемония, предшествующая бою быков в Испании.

Следует ожидать, что с течением времени будут происходить значительные изменения в сопроводительных церемониях до и после основной деятельности, и такие изменения кое-что скажут нам о меняющемся статусе этой деятельности в обществе в целом. Возьмем, к примеру, казнь через повешение:

«Все удлиняющееся время, затрачиваемое процессиями с осужденными на повешение на дорогу в три мили от Ньюгейта до Тайберна*, и неуправляемое поведение толпы подталкивали шерифов к решению покончить с этими процессиями, но столь сильно было давление традиции, что они долго сомневались в своем праве поступить так. Наконец, в 1783 г. последовало распоряжение осуществлять казни перед самой Ньюгейтской тюрьмой, так что осужденному надо было пройти до виселицы лишь небольшое расстояние. Первая казнь в Ньюгейте состоялась 3 декабря 1783 г., когда повесили десять человек. Исчезла одна старая традиция – шествие до Тайберна*, – но родилась другая. Установился обычай, когда губернатор после казни устраивает завтрак для некоторых ее официальных участников и видных людей, которых он лично приглашал на экзекуции. Очень скоро приглашения стали предельно лаконичными: “Повешение в восемь, завтрак в девять”»¹⁸.

Ныне все подобные зрелища сходят на нет и ставятся очень нечасто. Если где-либо и когда-либо они все же устраиваются, то в роли зрителей приходится выступать чиновникам, а все предварительные и посмертные процедуры урезаны насколько возможно. И, конечно, ни один из участников изначально не надеется хорошо провести время.

7. Соотношение между «спектаклем» и «игрой», между общественным действием и внутренними действиями требует дальнейшего изучения. Очевидно, что эта двуединая связка работает как некий амортизатор, обеспечивающий гибкость социального поведения в отношении капризов времени: раз уж определенный спектакль начался, участники, видимо, обретают способность с большим душевным спокойствием дожидаться «настоящих», «реальных» событий, то есть сферы бытия, которая обещает вот-вот родиться, – сферы, которая, между прочим, может обернуться чем угодно, только не ожидаемой «реальностью». (Нечто из подобного развития событий помогает официантке умиротворять клиентов, принимая у них заказы или, того меньше, просто ставя воду на их столики, поскольку обед как спектакль может начинаться значительно раньше процесса еды как такового.) Такое ожидание способно приспособляться к возможностям исполнения ожидаемого: время его может сильно укорачиваться или заметно удлиняться, ибо в некотором смысле это время вне времени, состоящее на службе «внутренних событий». Но, разумеется, только в известных

¹⁷ См. репортаж William Chapin (San Francisco Chronicle. February 1, 1963).

* То есть от Ньюгейтской тюрьмы до места публичной казни в Лондоне (до 1783 г.). – Прим. пер.

¹⁸ Atholl J. Shadow of the Gallows. L.: John Long, 1954. P. 51.

пределах. Если «дело» начинается чересчур быстро – жалобы возможны, а если ожидание слишком затягивается – они будут наверняка. И поэтому мы скоро обнаруживаем, что самой этой гибкости амортизатора могут быть поставлены формальные пределы. Например, время перерыва в разных видах спорта может ограничиваться различными правилами и постановлениями, так что хотя само по себе время передышки принадлежит «спектаклю», а не «игре», но установленные пределы времени на перерыв суть часть ее внутренних процедур.

Все сказанное обязывает нас ввести понятийные различия, могущие причинить немало хлопот. «Внешние скобки», которые открывают и закрывают события, сами должны рассматриваться как существующие в двух видах: «скобки», относящиеся к спектаклю, и «скобки», относящиеся к внутренним, официальным событиям. А «внутренние скобки», как мы вскоре увидим, могут иметь даже более высокую степень сложности.

К вопросу о «внутренних скобках» можно подойти, рассмотрев способ обращения со временем¹⁹ в драматических произведениях.

Начать здесь можно традиционно. Накоплен значительный материал о влиянии Аристотеля на становление правила единства времени (24 часа) для трагедии, и почтительное соблюдение этого правила в XVII в. во Франции можно сравнить с вольностью обращения со временем после Революции²⁰. Поэтому нам лучше прямо приступить к обсуждению того факта, что хотя каждый театральный акт исполняется в соответствии с ходом «реального» времени и «естественной» последовательностью событий²¹, но

¹⁹ См. одну из трактовок этой проблемы у Ричарда Шехнера (Schechner R. Public Domain. Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1969. P. 74-81; а также: Burns E. *Theatricality: A Study of Convention in the Theatre and in Social Life*. L.: Longman Group, 1972 (N. Y.: Harper & Row, 1973). Chap. 6 «Rhetorical Conventions: Space, Setting and Time». P. 66-97.

²⁰ См., напр.: Wiley W. L. *The Formal French*. Cambridge: Harvard University Press, 1967. P. 112-119. Уайли добавляет следующие соображения: «Трагедия во Франции жестко сковывалась не только правилами единства времени и места, но и другими ограничениями, которые французы почитали необходимыми в этом жанре. Среди таковых предполагались: избегание актов насилия на сцене, исключение любых эпизодов «низкой» комедии (комическая развязка допускалась лишь в детективных пьесах) и любого языка, который не был бы как должное приподнят и облагорожен» (Ibid. P. 119).

²¹ Кино опять же имеет здесь свои, отличающиеся от описанных, условности кадрирования и кадровой синхронизации деятельности (иными словами, ее «рамочной» организации). Кино позволяет показывать в пределах одной сцены фильма развитие поведения и ход действий в разные периоды времени (обычно короче, чем это было бы в действительности, но иногда и дольше) просто потому, что отснятые куски фильма при монтаже могут быть либо вырезаны, либо вставлены в поток материала, который в итоге увидят зрители, и еще потому, что за секунду может быть отснято разное число кадров. Разумеется, подобные манипуляции со временем срабатывают постольку, поскольку зритель способен сделать все необходимые выводы из коротких эпизодов, смонтированных из отдельных киноснимков. Пудовкин раньше многих высказался об этом различии театра и кино, прибавив и полезные комментарии об истории появления указанного различия – в частности, о появлении специальной техники киносъемки и монтажа, которая отошла от предшествующей ей практики прямолинейной фотосъемки театральных спектаклей (Пудовкин В. И. *Кино-режисер и кино-материал*. М.: Кинопечать, 1926. С. 3-13. англ. изд. 52-57). Балаш предлагает свой комментарий:

«Фильм мог бы показать забег на тысячу ярдов, сжав его в короткий эпизод продолжительностью в пять секунд, и потом дать в двадцати быстро сменяющихся крупных планах борьбу на последних ста ярдах между соперниками, которые, задыхаясь, бегут голова к голове, то вырываясь вперед, то отставая на несколько дюймов, пока, наконец, оба не придут к финишу. Эти двадцать съемочных кадров могут продолжаться на экране, скажем, сорок секунд, то есть в реальном времени дольше, чем эпизод, в котором показаны первые девятьсот ярдов забега. Тем не менее мы воспримем демонстрацию финишного отрезка как более короткую, наше чувство времени будет говорить нам, что мы видели всего лишь краткое мгновение, увеличенное словно под микроскопом» (Balazs V. *Theory of the Film* / Transl. by E. Bone. N. Y.: Roy Publishers, 1953. P. 130).

[В русском издании книги Балаша эта мысль высказана в более абстрактном виде:

«Большая или меньшая продолжительность сцен не есть только обстоятельство ритмического характера, но определяет и смысл сцены. Сцена часто делается короче по метражу, но продолжительнее по настроению, ибо внутренний темп кадров совершенно независим от времени, потребного для их прохождения. Бывают сцены, в которых (путем длительного изображения) развитие мелких моментов – секунд – действует как драматический темп. Но когда эти подвижные детали отсекаются прочь, остается общая картина, которая требует, правда,

длительность периодов, которые должны восприниматься как время, прошедшее между актами, может до известной степени колебаться. Эти периоды фактически могут иметь и заранее объявленные одновременные («симультанные») начала, при соблюдении единственного условия, что не используется обратное направление времени²². Разумеется, драматург имеет право выбирать свою собственную отправную точку, будь это прошлое, настоящее или будущее. Но при всех обстоятельствах сохраняется значительная ясность относительно правил течения времени в театральные формы.

Современная западная драма предоставляет самому драматургу безусловное право выбирать временное расстояние между актами. При смене сцен в кино допускаются такие же вольности, но это явно должно быть сделано «убедительно»:

«На театральной сцене между актами, когда опущен занавес, может пронестись столько времени, сколько пожелает автор. Существуют пьесы, где между двумя актами пролетел целый век. Но сцены и эпизоды фильма не отделены друг от друга занавесами или антрактами. Тем не менее ход времени должен быть передан зрителю, временная перспектива задана. Как это делается?»

Если в кинокартине хотят заставить нас почувствовать, что между двумя сценами минуло некое время, то между ними вставляют еще одну сцену, сыгранную в каком-то другом месте. Когда действие возвращается на прежнее место – время прошло²³. Постепенное исчезновение изображения или затемнение кадра также стали ассоциироваться с ходом времени:

«Затемнение картинки в кадре тоже может передавать течение времени. Если мы видим корабль, медленно исчезающий из виду за линией горизонта, то сам ритм этой картины выражает определенное движение времени. Но если эта картина еще и затемняется, тогда к ощущению хода времени, вызванному исчезновением корабля в морской дали, прибавляется чувство дополнительной и вряд ли поправимой утраты связанного со временем куска жизни. Ибо теперь съемочный кадр показывает сразу два движения: движение корабля и движение диафрагмы кинокамеры – и два времени: реальное время исчезновения корабля из поля зрения и киноремя, создаваемое “съемкой с затемнением”²⁴.

И даже пространство может служить той же цели наглядного выражения хода времени:

меньше времени, но зато неспособна заполнить живым интересом и этот более короткий промежуток» (Балаш Б. Искусство кино. М.: Госкиноиздат, 1945. С. 71). – Прим. пер.]

²² Здесь напрашивается интересное сравнение с условностями, на которых держится показ диапозитивов, связанных одним сюжетом. Как показывает Борис Успенский в разделе ««Точки зрения» в плане пространственно-временной характеристики» своей книги «Поэтика композиции. Структура художественного текста и типология композиционной формы» (М.: Искусство, 1970), каждый диапозитив изображает какой-то сжатый и остановленный во времени момент повествования, а последовательный переход от одного кадра-диапозитива к следующему пропускает в восприятии зрителя самые разные промежутки конденсированного времени повествования (Успенский Б.А. Указ. Соч. С. 96-97; Uspensky B.A. Study of Point of View: Spatial and Temporal Form // The Poetics of Composition: Structure of the Artistic Text and the Typology of Compositional Form / Transl. by V. Zavarin, S. Wittig. Berkley: University of California Press, 1974. P. 16). Движение времени от кадра к кадру при демонстрации диапозитивов отчасти подобно движению от сцены к сцене в пьесе, за исключением того, что во втором случае обычно бывают более масштабные скачки времени.

²³ Balazs V. Theory of Film. P. 121. [В русском издании книги Балаша: «В кинофильме можно «пропустить» время лишь при условии, если сцена будет прервана промежуточной картиной. Но сколько именно времени протекло за такой промежуток – этого продолжительность промежуточной картины показать не может» (Балаш Б. Искусство кино. М.: Госкиноиздат, 1945. С. 65). – Прим. пер.]

²⁴ Ibid., p. 145. [В русском издании книги Балаша: «Затемнение может указать также на время. Если корабль медленно исчезает на горизонте, то это событие имеет свою продолжительность. Если же кадр, кроме того, медленно уходит в затемнение, то к этому примышляется иное, гораздо большее и неопределенное время. В кадре видны теперь два движения: движение сюжета и движение кадра. Реальная длительность движения корабля и кинематографическое время затемнения могут не совпадать и иметь разное значение» (Балаш Б. Указ. Соч. С. 80). – Прим. пер.]

«Кинофильм создает исключительно интересную связь в зрительском восприятии между воздействием времени и воздействием пространства – настолько интересную в действительности, что это заслуживает более пристального анализа. Вот факт, подтверждаемый опытом каждого: как уже говорилось, промежуток времени между двумя сценами изображается в кино вставкой между ними еще одной сцены, исполняемой в другом месте. Опыт показывает, что чем дальше местоположение вставленной сцены от места действия в тех сценах, между которыми произведена вставка, тем больше времени пролетит по ощущению зрителей. Если, например, что-то происходит сперва в комнате, затем в прихожей, передней и потом второй раз в той же комнате, – зритель поймет, что прошло только несколько минут, и задуманная сцена в комнате может продолжаться без промедления и без изменения обстановки. Мы не чувствуем никакого перепада в течении времени. Но если вставная сцена между двумя другими сценами, происходящими в одной и той же комнате, уводит нас в Африку или Австралию, тогда ту же самую сцену нельзя просто продолжить в неизменной обстановке той же комнаты, так как благодаря эпизоду с географическим перемещением зритель должен почувствовать, что утекло много времени, даже если реальная продолжительность вставной сцены в дальнем краю несколько не больше длительности вышеупомянутой, тоже вставной, сцены в прихожей»²⁵.

Теперь, если переместиться снова на живую театральную сцену, можно яснее понять смысл всего сказанного. Начальное открывание и финальное закрывание занавеса – это, можно сказать, «игровые внешние скобки», ибо все эти театральные занавесы, похоже, отгораживают не спектакль от окружающего мира, а скорее игру от спектакля. Точно так же, но по-своему, действует и занавес, оповещающий аудиторию (публику) об антракте. Он не возвращает театралов в мир за пределами данного общественного мероприятия, но всего лишь переносит зрительскую аудиторию из мира внутренних событий в мир спектакля. (Фактически, именно поэтому антракт может служить поводом для знакомства, ухаживания и т.п.) В таком случае, антрактный занавес можно считать некой «игровой внутренней скобкой». Но перерывы между сценами внутри акта (действия) пьесы в театре или затемнения в кино рассчитаны не на этот тип переключения зрителей с одних событий на другие, а на переключение (или переход) на ином уровне, которое происходит внутри искусственно поддерживаемого фиктивного мира, в сфере внутренних событий. При этом отмечают начало и конец драматических эпизодов, а не начало и конец драматического действия как такового. Если хотите, здесь можно говорить только о «внутренних скобках».

И, наконец, перейдем к последнему затруднению в проблеме театральных занавесов, а именно, что единственная отметка-указатель, вроде падения занавеса, явно может функционировать в одно и то же время в качестве «скобки», относящейся к разным порядкам деятельности. Так, когда опускается антрактный занавес, то временно приостанавливается драматическая деятельность и одновременно завершается какой-то драматический эпизод.

8. И последний пункт. Можно не просто говорить, что некие официальные церемонии по всей видимости будут проходить в оправе какой-то разновидности социально

²⁵ Ibid., p. 122. [В русском издании книги Балаша: «Ритм сцены, пространство, в котором она разыгрывается, даже ее освещение, решают вопрос – покажется ли нам, что прошла минута или многие часы. Здесь раскрывается своеобразное взаимоотношение между чувством пространства и чувством времени, которые стоило бы подвергнуть подробнейшему психологическому анализу.

Особенно наглядным примером этого может служить следующее явление: чем дальше отстоит место действия промежуточной сцены от места основной сцены действия, тем длительнее может казаться нам промежуток времени между ними.

Если сцену, происходящую в комнате, мы прерываем сценой в передней, то как бы долго эта последняя сцена ни продолжалась, она не обозначит большего промежутка времени, чем то реальное время, в течение которого она в действительности продолжается.

Но если промежуточная сцена перенесет нас в другой город или даже в другую страну, то как бы она ни была коротка, она пробудит иллюзию столь большого промежутка времени, что после нее мы уже не будем в состоянии перенестись обратно к предыдущей сцене» (Балаш Б. Указ. соч. С. 66). – Прим. пер.]

организованных событий (публичных мероприятий), но и утверждать, что эти оправы могут быть относительно однородными по сравнению со степенью изменчивости того, что делается внутри их. «Вводные замечания», которые перекидывают мост между данным общественным мероприятием и ближайшей деловой задачей, обычно произносит некий хорошо известный всем персонаж после призвания аудитории к порядку; и оправы приблизительно одинаковы в любом случае, должен ли быть представлен какой-нибудь политический оратор, или судья в зале суда, или обрисован в общих чертах водевильный акт, или городской митинг. И, аналогично, одинаковые заключительные аплодисменты могут увенчивать огромное количество разнообразных обращений к людям.

III. Формулы появления в обществе

1. Как утверждалось ранее, всякий раз, когда человек участвует в каком-либо эпизоде деятельности, появляется необходимость в различении между тем, кого называют «лицом», «индивидом», или «игроком», короче говоря, участвующем в деятельности, и конкретной ролью, способностью или функцией, реализуемой им во время деятельности. Вместе с этим различением выясняется связь между двумя его элементами. Это значит, что возникает некая персональная ролевая формула. Характер конкретного рамочного формата деятельности несомненно будет связан с характером той персональной ролевой формулы, которую он помогает удержать. В природе связи между индивидом и ролью никогда не следует ожидать ни полной свободы, ни полного закрепощения. Но независимо от того, в какой точке такого континуума окажется чья-то формула, она, взятая сама по себе, будет выражать смысл, как «форматированная», организованная в определенных рамках деятельность включается в работу окружающего мира.

При попытке сформулировать характер расхождения между лицом и ролью ни в коем случае нельзя заранее связывать себя предвзятыми понятиями о «сущностной» природе каждого человека. По-прежнему жива тенденция исходить из предположения, что хотя роль – явление «чисто» социальное, но проектирующая ее машина – лицо или индивид – представляет собой нечто более чем социальное, более реальное, более биологическое, более глубокое и подлинное. Это достойное сожаления заблуждение не должно влиять на ход нашей мысли. Участника жизненной игры и социальное качество, в котором он выступает, изначально следует рассматривать как феномены равно проблематичные и равно открытые для потенциальной социальной бухгалтерии.

Не должны сбивать нас с толку и разные биологические уподобления и представления о «животном субстрате» человеческого поведения. Например, социальная роль матери, казалось бы, надежно связана с биологическими материями, но на поверку она столь же надежно связана с модой, которая в одном году диктует, что глубочайшие первоосновы женской природы повелевают стать матерями, а в следующем (и я думаю – более оправданно), что политические учения о таком предназначении женщин служат задаче удержания их в подчиненном положении. Вдобавок, то, что в одном контексте представляется индивидом или самостоятельным лицом, в другом бывает социальной ролью или качеством. Точно так же, как можно рассуждать о женщинах, которые являются или не являются матерями, можно рассуждать и о президентах, которые являются или не являются женщинами.

Рассмотрим теперь некоторые элементы в составе персональной ролевой формулы:

а) Распределение ролей. Если некая роль должна быть исполнена, возникает вопрос, какие ограничения установлены в отношении того, кто может взять на себя ее исполнение? Ответ почти совпадает с предметным диапазоном социологии, и чтобы дать его – не нужно больших усилий. Очевидно, существует нечто, называемое социальными факторами. Это те дающие преимущество либо влекущие подчиненность социальные квалификации лица, принимающего на себя определенную роль, которые организованы в конкретную систему показателей возраста, пола, классовой и этнической принадлежности. Например, в 60-х гг. Ватикан издал постановления, одно из которых запрещало сестре Марии Бернадетте из

Детройтского университета работать (кем бы ни было) в колледже²⁶, а другое позволяло сестре Мишель Терезе стать «штурманом» в дальнейшей работе Католической церкви в Кении²⁷. В обоих случаях монахини сделались героинями новостей, и новостей, явно имевших отношение к персональной (личной) ролевой формуле. Отметим, что вообще для анализа соотношения роли и ее исполнителя требуется применение двойной перспективы. Точно так же как роль может предъявлять спрос на исполнителя, который имеет определенные «подходящие к случаю» социальные квалификации, так и сам исполнитель может чувствовать себя обязанным ограничить свободу выбора роли из-за ожиданий широкой публики в отношении поведения человека с его набором социальных качеств²⁸.

Подобно социальным на распределение ролей влияют и технические факторы. Последние, между прочим, часто служат рациональным оправданием чисто социальных соображений. Любая роль взрослого человека требует каких-то умений и качеств, которые невозможно приобрести только на месте работы и которые, так сказать, должны быть «принесены с собой» на сцену действия человеком, захотевшим участвовать в нем. Здесь снова подразумевается некая избирательность и, значит, связь между человеком и ролью.

б) Наряду с вопросами распределения ролей должна быть рассмотрена проблема широко применяемых ограничительных социальных стандартов. Они относятся к нормированию физических условий труда, поскольку те влияют на здоровье, удобства и безопасность человека на рабочем месте, а также к нормированию степеней свободы для других ролевых обязательств исполнителя данной основной роли²⁹. Подобные стандарты применяются также дифференцированно, как в случае детского труда и отпуска по беременности: к примеру, ребенок может принять роль театрального актера, но если спектакль вывозится на гастроли или по каким-то иным причинам требует от участников много времени, закон предписывает заключать специальный трудовой договор, чтобы обеспечить непрерывность школьного обучения. В мои намерения не входит выражать сомнения в желательности разнообразных стандартов. Я лишь хочу указать, что они функционируют как ограничители возможных требований и претензий роли по отношению к исполнителю и также косвенно ограничивают выбор человека, связанный с исполнением функции.

в) Следующей по порядку рассмотрим проблему «ответственности». Когда человек совершает некий поступок во время активного исполнения какой-то конкретной роли (в силу обязанностей или благодаря возможностям этой роли), какую ответственность за этот поступок он продолжает нести там и тогда, где и когда он уже не выступает в указанной роли? Когда человек, например, исполняет жесткую акцию по приказу законно назначенного начальника, на какую меру освобождения от ответственности может он претендовать, ссылаясь на то, что «действовал по приказу»?

²⁶ San Francisco Chronicle. March 16. 1966.

²⁷ Ibid., March 17. 1966.

²⁸ В серии телепередач «Чем я занимаюсь?» участвовало множество «экспертов», задававших неопределенно-общие вопросы гостям, которые отвечали «да» либо «нет». Целью игры было выявить того, кто смог бы быстрее всех догадаться о профессии отвечающих. Телезрителям показывали ответ другой камерой. Этим создавалась некая телепатическая напряженность, интрига, ибо каждый гость отбирался по принципу непохожести на обычно ожидаемый тип человека его профессии, то есть фактически в противоречии с общепринятыми представлениями о персональных ролевых формулах. Разумеется, формат игры был рассчитан и на дополнительные источники развлекательности, например, на эффект восприятия вопросов, задаваемых в полном неведении, но которые, в свете знания телезрителями действительного занятия отвечающего, звучали бы для них двусмысленно и рискованно. Это телешоу показало, что и внешность людей может толковаться совершенно ошибочно, и самый невинный смысл высказываний может искажаться потенциально рискованными толкованиями. Но еще более существенно, как я думаю, то, что оно показало, сколь дорогостоящая и громоздкая операция требуется в случаях, когда такие неправильные прочтения надо вызвать к жизни в нужный момент, по плану.

²⁹ См.: Goffman E. Encounters: Two Studies in the Sociology of Interaction. Indianapolis: The Bobbs-Merrill Company, 1961. P. 141-142.

Без сомнения, при определении меры ответственности основную ориентировочную рамку (формат) надо искать в нашем понимании прав индивида быть освобожденным от нее, если доказуемо известное ослабление его воли и рационального мышления, – вопрос, который уже затрагивался в связи с обсуждением метаморфоз, переживаемых действующим лицом. Человека, который совершает преступление, будучи «не в себе», под воздействием наркотика, интоксикации или влиянием страсти, обычно считают в такой же мере ответственным за свои поступки, как того, кто делает тоже самое с ясной головой. Но все-таки такой человек отвечает не просто за потребление наркотиков, алкоголя или за необузданность страстей. Наказание почти наверняка последует, но обычно в смягченной форме, хотя иногда оно бывает тяжелее, чем отмеренное преступникам, действовавшим в «нормальном» состоянии.

Проблема ответственности и недостаточной правоспособности личности, конечно, подымает вопрос о значении умственных расстройств. Как уже отмечалось, западная социальная космология не нашла в его решении счастливой формулы. Когда официально признанный душевнобольным совершает преступление, юридически он обычно за него не отвечает: после задержания его не привлекают к суду и не сажают в тюрьму. Но его возвращают в больницу, делая ответственным за безумие, независимо от тяжести деяний, совершенных в этом состоянии. И фактически, когда он вновь поступает в лечебное учреждение, его почти наверняка заставят почувствовать последствия того, что он натворил.

Вопрос об агрессивных к «внешнему миру» бредовых маниях психопатов, находящихся на свободе, ставит перед обществом много болезненных и тонких проблем. Так называемые «правила Макнотона» (ответы, данные в 1843 г. высшими судебными инстанциями Великобритании на вопросы, поставленные перед ними палатой лордов в связи с оправданием в суде некоего Даниэля Макнотона, совершившего убийство и признанного невменяемым) в этом отношении проясняют дело, особенно четвертое правило:

«(4) Если человек под влиянием болезненно-бредового восприятия фактов действительности совершает преступление с тяжелыми последствиями, то освобождается ли он тем самым от юридической ответственности?³⁰».

Ответ на этот вопрос безусловно должен зависеть от характера психопатологического обмана чувств в отношении фактов действительности: при том же допущении, какое мы сделали раньше, а именно, что спорное лицо страдает лишь частичным, выборочным искажением восприятия, а в других отношениях здорово, мы полагаем, что о его ответственности следует судить, разбирая его поступки в такой ситуации, как если бы факты, в отношении которых наблюдается болезненное заблуждение, существовали реально. Например, если под влиянием своего заблуждения лицо полагает, будто на его жизнь покушается другой человек, и убивает такого человека, как оно убеждено, в целях самозащиты, – убийца может быть освобожден от наказания. Если же его заблуждение состояло в том, что покойный якобы причинял серьезный вред его репутации и благосостоянию и он убил этого человека в отместку за такой предполагаемый вред, убийца подлежит наказанию³¹.

В этом четвертом правиле содержатся тонкие суждения относительно укорененности наших деяний в широком мире. Английские судьи фактически утверждали, что патологически обманувшийся индивид, по сути, пребывал в другом, воображаемом, мире, но принимали как должное, что он все же был обязан действовать в реальном мире по его законам, как если бы они имели силу и в сфере воображаемого. И каким бы экстравагантным ни казалось это суждение, есть ученые, которые настаивают, что с тех пор никто не сумел улучшить его по существу³².

³⁰ Donnelly R. C., Goldstein J., Schwartz R. D. Criminal Law. N. Y.: The Free Press, 1962. P. 735.

³¹ Ibid., P. 737.

³² См., напр.: Gendin S. III. Insanity and Criminal Responsibility // American Philosophical Quarterly. 1973. Vol. 10. P. 99-110.

г) Последнее наше соображение об элементах персональной ролевой формулы касается выходящего за общепринятые в текущий момент рамки («внеформатного») поведения. Во время исполнения конкретной роли исполнитель очевидно будет иметь известное право отстаивать или находить убежище в каком-то своем Я, которое отлично от Я, проецируемого вовне соответственно требованиям роли. Роль представляет канал для выражения персонального, индивидуального. Например, как уже упоминалось, независимо от того, насколько формально конкретное социальное мероприятие, исполнитель, видимо, будет иметь, в определенных пределах, законное право ерзать, почесываться, шмыгать носом, кашлять, так или иначе искать для себя удобного положения и устранять маленькие беспорядки в одежде. Эти отклонения от роли, проявляемые во время ее исполнения, могут быть растянуты под каким-нибудь выдуманном предлогом для оправдания кратковременных отлучек, как в случаях, когда индивид извиняется за необходимость поговорить по телефону или зайти в ванную. Права на такого рода «внерабочее», выходящее из условного формата роли, поведение можно достаточно внятно истолковать как одно из выражений упоминавшихся выше ограничений на поглощение человека ролью. Повторюсь, что здесь я не пользуюсь никакими допущениями о неизбежной биологической подоснове человеческого действия, по крайней мере, в анализе обсуждаемой сейчас разновидности поведения. Установившаяся недавно мода предоставила почти каждому значительные права одеваться «как ему удобно», и в этом выразилось общее мнение, что не надо слишком давить на человека в сфере формальностей исполнения роли. Мы научились спокойно принимать премьеров, стучащих башмаками по трибуне, и президентов, выставяющих напоказ свои действия. Но, конечно, за этим попустительством стоят веяния моды и местные контексты культурного взаимопонимания. Если оглянуться назад всего на несколько поколений в нашем собственном американском обществе, то можно найти людей, не желающих привлекать к себе внимание, и терпящих строгую форму одежды вместе с сопутствующими ее ношению неудобствами как нечто само собой разумеющееся.

Сопровождающее социальную роль право исполняющего ее человеческого существа на минимум удобств – не единственное основание для появления «внерабочего», неформального поведения. Можно упомянуть еще два. Первое, когда человек чувствует себя обязанным немедленно включиться в деятельность, которая совсем не свойственна ему, деятельность, которую нелегко истолковать как созвучную содержанию, вносимому им в свои роли и извлекаемому из них. К примеру, он начинает игриво вышучивать свои действия, превращая их в нечто несерьезное, в повод для веселья, так что вся проходная сцена с его участием исполняется с выходом из роли, протекает за ее рамками. Здесь перед нами случай применения средства, которое помогает вновь несколько ослабить связь между человеком и ролью, между индивидуальным и ролевым, но это такое ослабление, которое обуславливается обычной негибкостью отношений между индивидом и ролью.

Второе, когда индивид вынужден сам себя трактовать (и принимать такую же трактовку со стороны других) в качестве чисто физического объекта в соответствии с неизбежными требованиями, налагаемыми «натуралистическими» рамками манипуляций с его телом, как бывает при посещениях врача, парикмахера или косметолога. В таких обстоятельствах человеку, вероятно, позволительно легкое подшучивание над собой, которое разряжает напряжение, вызванное стеснительными рамками (форматом) его вынужденных действий, и, что более важно, его полное приспособительное примирение с положением физического объекта может стать чем-то предосудительным для производящих над ним манипуляции людей. Короче говоря, от людей, к которым предъявляются ожидания функциональной доступности в качестве объектов, вовсе не ждут легкой и безудержной готовности к такому поведению. Подходящий пример можно взять из отчета о гинекологическом обследовании:

«Некоторые пациентки не знают, когда следует, подавив стыд, показывать другим интимные части тела, а когда прикрывать их, как подобает любой женщине. Пациентка

может затеять «неуместную демонстрацию» стыдливости и этим сорвать осмотр, на который имеет право медицинский персонал и больше никто. Но если пациентки ведут себя так, словно они буквально восприняли медицинское определение ситуации, это тоже грозит осложнениями. Когда пациентка действует вызывающе, как если бы обнажение груди, ягодиц и всей тазовой области не отличалось для нее от обыкновенного показа рук или ног, она конечно «нескромна». Предполагается, что медицинское определение ситуации имеет силу только в границах необходимости, облегчающей выполнение специальных медицинских задач»³³. И точно так же позволение врачам видеть пациенток без одежды вовсе не означает, что те позволяют видеть себя посторонним абсолютно неприкрашенными. Например, пациентки часто отказываются, или пытаются отказаться, вынимать вставные зубы при лицевых хирургических операциях или родах – словно бы эти зубы были частью базовой формулы личности при всех представлениях себя перед другими людьми.

2. Я описал пути применения ограничений к изменчивым отношениям между лицом и ролью, и, тем самым, случаи, в которых роль не независима от явно не относящихся к данному случаю характеристик людей, занятых ее проецированием на других: существующих практик распределения ролей, культурных норм и стандартов более широкого действия, понимания «личной» ответственности и прав на выход из роли. Во всех случаях эти толкования относятся к нашей профессиональной и домашней жизни в ее каждодневном, обыденном течении. Результирующая формула должна сопоставляться – как целое – с формулой, которую мы прилагаем к переключениям и фабрикациям деятельности, и тогда то, что становится предметом нашего рассмотрения, – это не роли или социальные качества, а преобразованные варианты формы целого, а именно: отдельные партии (parts) или характерные персонажи (characters). И вместо личной ролевой формулы мы имеем дело с чем-то вроде ролевой формулы персонажа (a role-character formula), изображаемого в данный момент взаимодействия. К анализу этой второй формулы следует подойти с особой тщательностью.

Легче всего начать с театральной сцены в разных ее формах, включая кинематографическую. Если смотреть на игру в театре как на профессиональную роль, то возможны обстоятельства, когда какому-то индивиду будет запрещено ее исполнять. Пример с монахиней уже приводился. Еще более типичный случай – это запрет на актерскую профессию для женщин:

«С 1580 до 1690 г. театры и спектакли в Испании во многих отношениях походили на таковые в Англии, но во многих других – нет. В Лондоне еще в 1660 г., уже после Реставрации женские роли всегда исполняли мальчики. Как видно из описания Рохасом испанских трупп, и мальчики, и женщины появлялись на примитивных провинциальных сценах. В Мадриде же актрисам не разрешали выступать в театрах для широкой публики вплоть до 1587 г.»³⁴.

³³ Как поясняет Джоан Эмерсон: «При гинекологическом осмотре поддерживаемая общими усилиями реальность состоит не из одного медицинского определения ситуации, но из разногласия многих тем и контртем» (Emerson J. P. *Behavior in Private Places: Sustaining Definitions of Reality in Gynecological Examinations* // Dreitzel H. P. (ed.). *Recent Sociology*. # 2. N. Y.: Macmillan, 1970. P. 91.). См. также раздел под заголовком «Одновременная множественность Я» в: *Role Distance*. E. P. 132-143.

³⁴ Macgowan K., Melnitz W. *Golden Ages of the Theater*. P. 52.

Отметим, что эти ограничения касаются только профессионального формата театральной формы деятельности. Анализ в более широком формате заставляет нас признать, что уже при легком изменении ее «настроечного ключа» может сложиться другой набор ограничений. Любительский спектакль, который позволяет человеку изображать сценический персонаж без того, чтобы сперва стать профессиональным актером, без сомнения, допускает в распределении ролей свободу, которой нет у профессионального театра, так что домашние, школьные и университетские спектакли имели возможность заполучать высокородных исполнителей во времена, когда коммерческие постановки такой возможности не имели. Вот почему в Кембриджской университетской постановке пьесы Ортона «Eppingham Camp» принц Чарлз мог одеться католическим священником и получить в лицо кремовым тортом на глазах у публики (Life, December 13, 1968). Аналогично, как можно догадаться по ориентационным рамкам соответствующей деятельности, пьесы, поставленные с

Речь здесь идет не о том, какие роли или каких персонажей не разрешалось играть женщинам, а о том, что можно им вообще позволять играть, то есть участвовать (кроме права быть зрителем среди публики) в системе (формате) театральной деятельности, быть лицами, обладающими социальной ролью в театре. Но даже если некоей социальной категории в целом предоставлено право выступать на сцене, то все еще остается вопрос, какие конкретные театральные роли позволено исполнять лицам, входящим в эту категорию. В общем сохраняется вопрос и о правах на исполнение роли как отвлеченной от индивидуального единицы социальной структуры, и о правах на исполнение индивидуализированного персонажа, то есть о праве человека на участие в применении конкретных координат, социально определенных рамок деятельности и о его праве участвовать в таком применении конкретным, особенным образом. Ибо, если театральная роль будет восприниматься как нечто возвышающее или принижающее играющего ее актера (а потому в какой-то степени и конкретного человека, который профессионально работает в роли актера), и это будет отражаться на нем самом и на других сценических ролях, которые он мог бы сыграть, – то в таком случае станет невозможной гибкость в отношениях между людьми и их потенциальными ролями. Исторический пример этого дает испанская религиозная пьеса (*auto sacramental*), нередко исполнявшаяся в церквях. К тому же это и пример постепенных сдвигов в правилах, определяющих приемлемые рамки поведения (*framing rules*):

«В 1473 г. один церковный совет обнародовал постановление против публичного представления чудищ, масок, непристойных фигур и «распутных стихов, которые мешают церковной службе». Вероятно, было много подобных постановлений, но непристойности упорно продолжали жить – если не в церквях, то в уличных представлениях. В XVII и XVIII вв. такие атаки усиливались. Миряне так же, как и священнослужители, яростно выступали против профессиональных исполнителей в *autos*. Анонимный автор возражал против них на том основании, что одна и та же актриса, недавно игравшая Божию Матерь, «...окончив эту роль, тут же появляется в *entremes* и представляет жену трактирщика..., просто надев шляпку или подоткнув юбку», при этом танцует и поет скабрёзную песенку. «Актер, который только что исполнял роль Спасителя, снимает бородку, выходит вновь и, пританцовывая, напевает: 'Сюда, моя девочка!'». Священники подхватывали такие нападки на актеров. Это отвратительно, когда «женщина, которая воплощает похоть Венеры как в игрищах [на подмостках], так и в своей частной жизни, должна представлять целомудрие Пречистой Девы». Такие нападки продолжались пока, наконец, в 1765 г. Карл III королевским указом не запретил исполнение всех *autos sacramentales*»³⁵.

благотворительной целью, могли привлекать исполнителей, которые в иных обстоятельствах всячески избегали бы подмостков; а сценические постановки, которые отличаются от обыкновенных пьес, могли успешно использовать личную ролевую формулу, совершенно отличную от той, которая регулирует общепризнанную сценическую деятельность. Вот один пример необычных постановок:

«Последней формой театрального развлечения, зародившейся в елизаветинские времена и усовершенствованной при первых двух королях из династии Стюартов, были «маски». Корни ее надо искать в придворных зрелищах итальянского Ренессанса. В канун Крещения [«Двенадцатая ночь» после Рождества] 1512 года молодой Генрих VIII «с одиннадцатью придворными нарядился на манер итальянцев в пресловутые маски – событие прежде в Англии не виданное». До этого тоже бывали «ряженные» и великолепные балльные зрелища, но тогда в первый раз королевская особа приняла участие в таком развлечении. Дочь Генриха VIII Елизавета также пользовалась маской (персонажа, заимствованного из Франции), и ее представления, подобно представлениям отца, были в основном пантомимами...

Некоторые представления с масками устраивались в помещениях главных юридических корпораций, но большинство из них в королевских дворцах... В них участвовали придворные, а также обученные певцы и танцоры. Принц Генрих безмолвно «прохаживался» в заглавной роли в «Маске Оберона», и сам Карл I вместе с королевой играли в некоторых из этих спектаклей. Жена Якова I королева Анна любила маски даже больше театра и чернила свое лицо, чтобы играть одну из негрятенок в «Маске тьмы» (Macgowan K., Melnitz W. *Golden Ages of the Theater*. P. 88).

³⁵ Ibid., P. 45-46. Пропуски и скобки в оригинале.

В 1973 г. современный пример подобного рода предоставила нам Мэрилин Чемберс, спокойно изображавшая образцовую мать на белоснежных упаковочных коробках, пока ее не разоблачили как кинозвезду жесткого порно.

Отсюда видно, как осторожно надо рассматривать театральную деятельность с целью уточнить, что именно нас интересует: занятие само по себе или биографический маскарад, которого это занятие требует от индивида в данном конкретном случае. И надо понимать, что ограничения в отношении упомянутого маскарада не являются в полном смысле необходимыми ограничениями в отношении занятия.

Почти идеально свободная, слабая связь между актером и сценической ролью – это, конечно, уже характеристика театра новых времен, театра эпохи модерна. После того, как индивид принял профессию и бытие актера, он не несет почти никакой ответственности за театральную роль, которую играет, несмотря на то, что эта игра отражается на его положении в профессии и либо усиливает, либо ослабляет степень его защищенности в своем амплуа. Но, разумеется, от него требуется известное соответствие с характеристиками роли по полу³⁶, возрасту, расе³⁷ и (в меньшей степени) по классовому положению. Кроме того, существует нежелание актеров изображать гомосексуалистов, о чем уже упоминалось. Совсем недавние изменения в этой сфере не стоит с необходимостью рассматривать как отражающие растущее приятие обществом социальной роли гомосексуалиста (хотя, возможно, без этого не обошлось), ибо непосредственный предмет нашего рассмотрения – это изменение в обычаях и условностях, определяющих ориентировочные рамки какой-то деятельности, а в данном случае – это расширение власти разработчиков и постановщиков драматических сценариев отделять характер исполнителей от характера их ролей.

Существуют также очевидные границы принятия ролей в сексуальном взаимодействии. И здесь надо быть внимательным к осложнениям, связанным с изменением условностей в принятом формате поведения. «Вызывающий» акт пробивается на театральную сцену или экран под давлением двух ограничений: что могут безнаказанно для себя поставить режиссеры и что из их замыслов могут воплотить актеры, не замарав себя. Недавняя легализация «жестких», откровенно порнографических фильмов, отразила, по-видимому, более значительные изменения в степени свободы режиссеров-постановщиков, чем актеров. Когда в фильме Джерард Дамиано «Дьявол в мисс Джонс»^{*} героиня в ванне вскрывает себе вены на руках и совершает самоубийство, вопроса о личности самой актрисы, Джорджины Спэлвин, не возникает. После этого ее узнавали бы просто как женщину, которая разыграла это требующее глубокого перевоплощения деяние. Самоубийство здесь относится только к роли, и любой актер в соответствующей характерной роли готов исполнить его. Но поступки, которые мисс Джоунз (персонаж) совершает, ожидая своего места в аду, хотя и бесспорно предписаны сценарием, однако не таковы, чтобы мисс Спэлвин (актриса) сумела легко от них отмежеваться, по крайней мере, при нынешнем состоянии общественного мнения. И все-таки открытое принятие (и даже поиски) скандальной известности само по себе может стать шагом в направлении легитимации заслужившего ее поведения, и теперешняя готовность актеров подмочить свои репутации – это, без сомнения, и причина и выражение сдвига в условностях, очерчивающих рамочный формат того или

³⁶ Одно из исключений: в ранних радиопьесах предпочитали использовать женские голоса в ролях детей.

³⁷ Интересно, что использование черных манекенов, с недавних пор устанавливаемых в магазинах США и Британии, все еще встречает, по газетным сообщениям, заметное сопротивление в Южной Африке. См.: *Clothes Dummies Stir Africa // The New York Times. January 4. 1970.*

^{*} Здесь Гофман видимо ошибся. Существовало несколько фильмов с названием "Дьявол в мисс Джонс", но ни один из них не принадлежит Джерарду Дамиано. Последний известен главным образом своим фильмом "Глубокая глотка" (*Deep Throat*, 1972). Тогда же, в семидесятых годах, был снят фильм "Дьявол в мисс Джонс". "Глубокая глотка", "Дьявол в мисс Джонс" и "За зеленой дверью" – эти три фильма считаются шедеврами порнографии семидесятых годов. После выхода фильма "Дьявол в мисс Джонс" была снята целая серия продолжений. - Прим. ред.

иного вида деятельности. К тому же прочная профессиональная репутация не является единственным средством подрыва старых запретов и усиления способности театрального формата деятельности отвлекаться от личности актера при реализации своих требований. В 1973 г. четырнадцатилетняя актриса, по социальному происхождению из среднего класса, ученица девятого класса пригородной школы сыграла одержимого бесом ребенка в киноленте «Изгоняющий дьявола» («The Exorcist»). В журнале «Newsweek» сообщалось: «Ее лицо и тело – какие-то отвратительные останки из крови, гноя и кровавых рубцов. Она выкрикивает самые непристойные слова, когда-либо слышанные с экрана, лягает доктора в пах, как зверь бросается на мать, мастурбирует распятием и извергает потоки рвоты на священников, которые приступают к изгнанию беса». Затем в статье проводилась мысль, что юная актриса и ее семья могли спокойно отнестись к участию в фильме, чувствуя себя защищенными броней респектабельности и рассудительности, свойственных среднему классу³⁸. (Но в данном случае, возможно, тот факт, что киноперсонаж несамостоятельно совершает эти мерзкие поступки, являясь попросту сосудом и орудием дьявола, обеспечивает достаточно отстраненную дистанцию актрисе, которая предстает лишь средством передачи непотребств персонажа.) Заметим, однако, что готовность взломать принятые рамки театральной или кинематографической деятельности все же не должна рассматриваться только как часть выдуманного мира: такой акт столь же реален и серьезен, как и любое другое морально рискованное предприятие³⁹.

Интересны различия между театральной и кинематографической аренами относительно ролевой формулы персонажа:

«Работа отыскания нужных актеров, подбор людей с ярко выраженной внешностью, соответствующей тем заданиям, которые поставлены в сценарии, является одним из труднейших этапов в подготовительной работе режиссера. Нужно помнить, что, как я уже говорил, на кинематографе нельзя «играть роль», нужно обладать суммой реальных данных, отчетливо внешне выраженных, для того, чтобы нужным образом впечатлить зрителя. Немудрено, поэтому, что часто в кинематографической постановке снимают человека случайного, с улицы, никогда не мыслившего об актерстве, только потому, что он является ярко внешне выраженным типом и как раз таким, какой нужен режиссеру. Для того, чтобы сделать конкретно ощутимой эту неизбежную необходимость брать в качестве актерского материала людей, в действительности обладающих реальными данными для нужного образа, я приведу хотя бы такой пример. Предположим, что для постановки нужен старик. На театре этот вопрос разрешился бы просто. Сравнительно молодой актер мог бы нарисовать на лице морщины, внешне впечатлить зрителя со сцены, как старик. На кинематографе это

³⁸ Newsweek. January 21. 1974.

³⁹ Смысл сказанного отчасти раскрывается в нижеследующем газетном интервью. В 1968 г. невинно выглядевшая по типу актриса Сьюзан Йорк сыграла пятиминутную сцену лесбийской любви в фильме «Убийство сестры Джордж», которая по тем временам тоже выходила за пределы обычных рамок кинематографической игры. Прочитируем отрывок из интервью Норы Эфрон с мисс Йорк:

«-Чувствуете ли вы, что вас использовали?»

- Нет. Все придумывал Боб [Олдрич, режиссер]. Он так же боялся, как и любой другой из нас. Невозможно – по крайней мере для меня – участвовать в подобной сцене без доверия, если только вы не пьяны. А я не была пьяна. Но на протяжении двух или трех дней съемок уровень вашего доверия скачет. Я нервничала ужасно. Это был трудный период. Трудный для меня и трудный для Корал [Браун, партнерши]. Я думаю, мало кто на свете так незащищен и уязвим, как актер. Положим, вы писатель, но перед публикой всего лишь ваша книга. Если вы художник, то выставляете только вашу картину. Но если вы актер, то перед публикой вы, вы сами, ваше лицо, ваша кожа, ваше тело. Ну, и чужие могут иметь все это. Они могут взять ваше тело и ваше лицо. Но никто не смеет вторгаться в ваши мысли. И главное что ужасало меня, что терзало меня, был страх, что я пережила момент, когда не принадлежала самой себе. Это было похоже на чувства араба, который боится фотографироваться, так как думает, что в этот момент кто-то забирает его душу. Я тоже думала, что может быть отдаю слишком многое. Я думала, что эта сцена, возможно, способна опустошить мою душу. Просто сам факт выступления раздетой, выставления себя всем напоказ... Чтобы ни говорил вам ваш холодный разум, вы не можете не чувствовать себя оскверненной.» (The New York Times. December 29. 1968.)

немыслимо. Почему? Да потому, что настоящая живая морщина представляет из себя углубление в коже, – складку, и если старик с настоящей морщиной поворачивает голову, то свет на этой морщине играет. Реальная морщина не есть темная полоса, она есть только тень от складки, и различное положение лица относительно света даст всегда различный рисунок света и тени. Живая морщина под светом в движении живет; если же мы вздумаем на гладкой коже нарисовать черную черту, то на экране движущееся лицо показывает не живую складку, на которой играет свет, а только проведенную черной краской полосу. Особенно нелепа будет она при большом приближении объектива, то есть на крупном плане. На театре подобный грим возможен потому, что свет на сцене условно ровен, он не бросает теней. По этому приблизительному примеру можно судить о том, насколько подыскиваемый актер должен быть близок к тому образу, который намечен в сценарии. В конце концов актер кинематографа в огромном большинстве случаев играет самого себя, и работа режиссера с ним будет заключаться не в том, чтобы заставить его создать то, чего в нем нет, а в том, чтобы наиболее ярко и выразительно показать то, что у него имеется, использовать его реальные данные»⁴⁰.

«Обычная кино-картина длится полтора часа. За эти полтора часа перед зрителем проходят иной раз десятки запоминаемых им лиц, окружающих героев картины, и эти лица должны быть исключительно тщательно выбраны и поданы. Иной раз вся выразительность и ценность сцены, хотя бы и с героем в центре ее, зависит почти исключительно от тех «второстепенных» персонажей, которые его окружают. Эти персонажи показываются зрителю всего на 6-7 секунд каждое. Они должны впечатлить его ярко и отчетливо. ...Найти такого человека, поглядев на которого 6 секунд, зритель сказал бы: «это негодяй, или добряк, или глупец» – вот задача, стоящая перед режиссером при выборе людей для будущей постановки»⁴¹.

Независимо от различий ролевых формул персонажа, предлагаемых разными типами сценических площадок, и независимо от пределов, поставленных в данный момент самовыражению, целый набор приспособлений образует нечто вроде модели разъединенности между персонажем и его творцом. Другие переключения и фабрикации в процессе человеческой деятельности дают похожие, но ослабленные вариации на ту же тему.

Вернемся снова к вопросу о репутации, но на этот раз в виде проблемы ограничений, налагаемых ею на возможности человеческого притворства вне сцены, в частной жизни. К примеру, тот, кто разыгрывает в ней ближних подходящей к случаю шуткой, может не заботиться об устойчивых последствиях подобным образом организованного взаимодействия, но, конечно, все зависит от того, что мы имеем в виду под «подходящим». Тому, кто стряпает сверхусложненные, дорогостоящие, вредоносные или бестактные розыгрыши и шутки, то есть как раз «не подходящие», надо приобрести известную репутацию, чтобы так поступать. Аналогично, человек, симулирующий безумие или гомосексуальные наклонности лишь бы избежать призыва на военную службу, может иногда преуспеть в этом, но порою только потому, что проверяющие его психиатры придерживаются взгляда, согласно которому любой желающий инсценировать подобный спектакль, должен быть несчастным, подверженным риску умственного заболевания. Такой интерпретацией психиатрия подкрепляет наши житейские мнения о пределах симуляции. Но, конечно, об этом не удастся написать легковесно.

Близкий описанному ограничитель самовыражения связан с представлениями людей о величии должности, заставляющими ответственных лиц чувствовать, что определенные

⁴⁰ Пудовкин В. И. Кино-режиссер и кино-материал. М.: Кинопечать, 1926. С. 60-61. Здесь, я думаю, Пудовкин немного увлекается. Дело не в том, чтобы найти кого-то, кто подходит для роли по человеческим качествам, но кого-то, чей облик в частной жизни быстро создает на экране впечатление искомым характеристик персонажа. Сами эти характеристики, будь то на внеэкранном или на экранном уровне, могут полностью зависеть от глаза наблюдателя и его ценностных суждений.

⁴¹ Там же, с. 66.

легкомысленные выходки, пусть безобидные, им «не к лицу». В 1967 г. губернатор штата Калифорния во время его принятия в почетные члены Лос-Анжелесского клуба мог позволить себе следующее:

«Часть церемонии пятидесятилетний губернатор сидел с завязанными глазами на деревянной лошадке перед аудиторией в шестьсот человек, держа правую руку в сковородке с яичницей, в то время как клубный распорядитель зачитывал длинный список воображаемых комических происшествий из прежней актерской жизни губернатора, на каждое из которых он должен был отвечать: “Я признаю это”»⁴².

Но если бы он тогда избирался в президенты США, такую церемонию приема, вероятно, посчитали бы, мягко говоря, неуместной, даже при том, что вообще церемониалы посвящения и принятия куда-либо дают, по крайней мере в Америке, закрепленное обычаем право на дурашливое, не совсем пристойное поведение. Подобная осторожность напоминает, что один из элементов, которые мы подразумеваем, говоря о безумном поведении, – это участие в деятельности, о которой другие обыкновенно могли бы подумать как об унижающей достоинство человека определенного типа⁴³. Однако мэр Нью-Йорка счел уместным действовать в таком духе:

«Хваленое самообладание Линдсея тоже пострадало, и он довольно долго восстанавливал хорошее настроение, чтобы приготовить неожиданный постскриптум к этому ежегодному вечеру музыкальных пародий, устраиваемому политическими репортерами. Всегдашний радатель шоу-бизнеса, Линдсей надел соломенную шляпу, белые перчатки и взял в руку тросточку, чтобы спеть и протанцевать чечетку в ботинках без металлических набоек в номере с профессиональным партнером. «Быть может, я еще спасу это шоу», – изрек он в оправданье»⁴⁴.

И опять же, если бы Линдсей баллотировался в президенты, подобное добропорядочное спортивное молодечество вряд ли было бы позволительно. Хотя американские президенты могут изображать доброжелательную аудиторию во время исполнения сатирических скетчей против своих администраций, особенно сочиняемых столичным Пресс-клубом, но возможности их выхода на сцену ограничены, и пределы этих возможностей были очень мило политически засвидетельствованы, когда президент Линдон Джонсон с женой присоединились к Перлу Бейли и Кэбу Каллоуэю, чтобы почти рука об руку спеть «Хелло, Линдон» во время выступления в Вашингтоне черных актеров с мюзиклом «Хелло, Долли!». Тогда, наверное, американский президент появился в театральной постановке впервые в истории страны⁴⁵. Это не значит, конечно, что правила жизни для высокопоставленных лиц не могут изменяться да и уже не изменились с тех пор, но об этом речь пойдет позже.

Рассмотрим теперь проблему биографических маскировок и обманов. Когда человек действует в каком-то определенном ключе или по конкретной схеме и благодаря этому начинает в непосредственном взаимодействии с другими исполнять партию или перевоплощаться в персонаж – некую узнаваемую фиктивную личностную целостность, а не

⁴² The New York Times. July 27. 1967.

⁴³ В журнале «Life» (за 23 октября 1970 года) помещена фотография одного бизнесмена с южной стороны г. Милуоки. Он сидит в алюминиевом кресле-качалке босым, в футболке, с подвернутыми брючинами, с кукурузным початком вместо трубки в зубах, с черпаком, погруженным в какую-то дыру, среди улыбающихся местных полицейских, поскольку, как тогда было известно, он проходил обряд посвящения в Американский легион. Так как подобные обряды имеют закрепленное институтом обычаев американского общества неофициальное разрешение выходить из обычных рамок бытового поведения, то социальные ограничения на его формы в ходе приема в какую-либо организацию сильно отличаются от тех же социальных ограничений при обыкновенных условиях.

⁴⁴ Time. March 18. 1966.

⁴⁵ См.: Life. December 8. 1967. В избирательной кампании 1968г. Никсон появился в комическом шоу Роуана и Мартина, где произнес двусмысленную фразу. Говорят, что Никсон исполнил этот скетч только после заключения письменного соглашения, запрещающего его использование после выборов.

просто роль, – какую ответственность несет он за свои поступки, то есть какие претензии могут быть предъявлены ему как конкретному лицу за его поведение в качестве персонажа?

Когда индивид действует, как предполагают, «под гипнозом» или во сне, его не считают ответственным за действия персонажа, которого он воспроизводит в сомнамбулическом состоянии. Утверждают, что верующие вудуисты в случаях, когда человек «оседлан», то есть одержим духом (loa), придерживаются сходного мнения о распределении ответственности по модели отношений между всадником и лошадью под седлом:

«Индивид в состоянии транса никак не отвечает за свои дела и слова. Он перестал существовать как личность. Одержимый может безнаказанно выражать мысли, которые в нормальных обстоятельствах он не решился бы высказать вслух»⁴⁶.

Интересно, что во всем этом можно обнаружить притязание на то, будто человек, выходящий из транса, абсолютно ничего не помнит, что с ним случилось за время одержимости. По-видимому, вудуистские медиумы тоже утверждают отсутствие связи между своим человеческим лицом и тем мифологическим персонажем, которого они берутся воплощать.

Однако такая слабая связь между человеком и его маской, между лицом и личиной, видимо, не типична. Существуют внутренние ограничения, обусловленные общекультурным и индивидуальным чувством стыда и приличия. Агенты тайной полиции, наверное, чувствуют себя вправе принять почти любую маску, ибо их «реальный» статус защищает их от потенциального постоянного отождествления с маской, какую они временно напяливают на себя для пользы дела. Тем не менее, существуют виды маскировки, которыми полиция брезгует, особенно, когда они требуют совершения каких-либо актов с гомосексуальным оттенком.

Более того, внутренние ограничения могут быть санкционированы официальными инстанциями, так что независимо от личной чувствительности исполнителя ему будет запрещено пользоваться определенными масками, даже если разрешены другие. Пример этого дает следующее сообщение в газете об ограничениях на допустимые средства при важных государственных расследованиях:

«Нью-Йорк (информационное агентство Associated Press). – Министр юстиции США Рамсей Кларк издал приказ, запрещающий агентам ФБР представляться в будущих расследованиях в качестве корреспондентов газет, журналистов радио и телевидения и т. п.

Кларк обнародовал этот приказ в письме от 8 июля 1968 г., адресованном Биллу Смолу, главе бюро новостей радиовещательной компании Columbia Broadcasting System (CBS) в Вашингтоне. Содержание письма было распространено вчера.

Смол жаловался от имени трех телеканалов, что 17 июня агенты ФБР работали под видом тележурналистов во время пресловутого инцидента в Вашингтоне с сжиганием призывных повесток, организованного женщинами-членами Комитета ненасильственных действий Новой Англии.

Корреспондент корпорации ABC (Эй-би-си) Ирвинг Чапмен сообщал в то время, что агенты ФБР выступали как тележурналисты, чтобы собрать на киноплёнке нужные свидетельства для последующих судебных преследований. В одном из выпусков последних известий Чапмен обвинил агентов ФБР в том, что «тем самым они компрометируют нашу [журналистов] профессию»⁴⁷.

Еще одним примером официальных ограничений могут послужить законы против попыток выдавать себя за лицо противоположного пола. Этот случай особенно интересен в связи со спецификацией сферы действия этих законов, заставляющей внимательно

⁴⁶ Metraux A. Voodoo in Haiti. P. 132.

⁴⁷ San Francisco Chronicle. July 11. 1968.

обдумывать возможные рамки карательных действий, как учит нас одно из примечаний в книге по проблеме арестов:

«В 1958 г. была принята поправка к постановлению муниципалитета [в Детройте] о нарушениях общественного порядка, которая сделала незаконным «появление в женской одежде лиц мужского пола на любых улицах, аллеях, автострадах, тротуарах, мостах, виадуках, пешеходных и парковых дорожках, в туннелях и других публичных местах или путях сообщения, муниципальных или по любым частным обоснованиям открытых и посещаемых публикой, – при условии, однако, что эти положения не будут применяться ни к одному лицу в то время, когда оно на законном основании дает, проводит, ставит, представляет, предлагает или участвует в любых развлекательных программах, выставках или представлениях» (Detroit City Ordinances. Chap. 223. S 8-D, с поправками от 29 июля 1958 года)⁴⁸.

Из этого постановления можно извлечь урок относительно важности наших житейских концепций, определяющих рамки будущих действий, ибо за формальными юридическими ограничениями можно иногда обнаружить некоторые базовые предположения о людях, которых они касаются.

3. Вернемся к театру и повторно рассмотрим понятия индивидуальное «лицо», «роль» и «персонаж». Как уже упоминалось, когда говорят, что конкретный актер на сцене слишком стар для роли или когда автоматически подбирают исполнителя на какую-то роль из кандидатов того же пола, что и герой пьесы, тогда подразумевают, что некоторые свойства актера, пригодные для данной роли, «естественны» для него, то есть являются частью его поведения вне сцены, в жизни, и что эта неподдельная природная пригодность точно так же необходима, как и текст пьесы. Вот почему Сартр в своем предисловии к «Служанкам» Жене приводит такой трогательный аргумент:

«В «Богоматери цветов» Жене говорит: «Если бы мне пришлось ставить пьесу с женскими ролями, я потребовал бы, чтобы эти роли исполнялись мальчиками-подростками, и я специально привлек бы к этому внимание зрителей афишей, которая была бы прикреплена к декорациям справа и слева в течение всего спектакля». У кого-то может возникнуть искушение объяснить такое требование пристрастием Жене к мальчикам на пороге юности. И все же это не главная причина. Суть дела в том, что Жене с самого начала хочет подрубить корни очевидности. Без сомнения, актриса способна сыграть Соланж, но результат, который можно назвать «дереализацией», не был бы радикальным, так как актрисе не нужно играть женское естество. Мягкость ее плоти, ленивая грация движений и серебристый тон голоса – все это ее природные способности. Они составляют тот материал, который она будет формовать по своему усмотрению, чтобы придать ему облик Соланж. Жене хочет, чтобы это женское естество само стало видимостью, результатом актерского притворства. И не Соланж оказывается театральной иллюзией, а скорее женщина Соланж»⁴⁹.

Очевидно, позиция Сартра сводится к тому, что женщина, выступающая в этой роли (как и было в действительности на первом представлении пьесы), могла «натурально» играть женщину, будучи женщиной на самом деле, чьи природные качества продолжали бы существовать и вне театральных рамок, которые не в состоянии их подавить. Но, конечно, женоподобное поведение на сцене или в частной жизни имеет какой-то социально определенный рисунок, не более «натуральный» и неизбежный, чем профессиональная роль служанки. И Сартр по существу говорит не о природе, чем бы она ни была, а о не выявленных предрассудках относительно пределов театральных рамок человеческой деятельности.

⁴⁸ LaFave W. R. Arrest. Boston: Little, Brown and Company, 1965. P. 469.

⁴⁹ Sartre J.-P. Introduction // Genet J. The Maids and Deathwatch / Transl. by B. Frechtman. N. Y.: Grove Press, 1954. P. 8-9.

Пойдем далее. С учетом сказанного о ролевых формулах персонажа становится понятной «типажная специализация» актера, то есть положение, когда театрального актера, который «хорошо подходит» для данной роли (или типа роли) и часто ее исполняет, могут постепенно отождествить с нею, и не только на сцене загнать в ограничительные рамки характерного персонажа, но и вне сцены видеть в нем характер, навеянный ролью, которую он обычно исполняет. (Фактически, если рассматривать эти материи в сравнительной перспективе, можно увидеть, что западные представления о тенденциях развития «типажной специализации» открывают только одну возможность. А, к примеру, в Японии существуют роды, наследственно связанные со сценой в течение ряда веков и успевшие получить национальное признание как обладатели своеобразного мандата на исполнение определенных видов ролей, – и здесь внесценическая идентификация со сценической ролью может быть очень велика, особенно в случае мужчин, которые специализируются на женских ролях.) Вероятно, читателю нелегко разглядеть то, что в этом исследовании с самого начала было характерным для процессов определения рамок действия, а именно, возможность тех же процессов самим становиться предметом для переопределения, нового пересмотра рамочного формата действия. Так, в профессиональной борьбе как бизнесе исполнителям предоставляют на выбор ампулу «злодея» либо «честного борца», и после того как борец в одной из этих ролей хоть раз уловит живую реакцию публики, он будет стараться, чтобы каждая схватка подтверждала его «типажную специализацию». Результат такой практики не только в том, что каждая конкретная схватка оказывается подделанной, но и в том, что опыт, переносимый из одной схватки в другую, тщательно обрабатывается и усваивается, тем самым повышая ценность исполняемых трюков в глазах публики. Короче говоря, качества, которые перерастают рамки конкретного исполнения, сами могут усиливаться подходящим исполнением. Лучший пример – это все еще «Standwells», действующая труппа из пяти кукол, которая выступала в Манхэттене одиннадцать сезонов подряд с очень большим репертуаром пьес⁵⁰. Хотя всего двое мужчин оживляют эти пять кукол, каждая из них воспринимается как личность со своим характером, и это предопределяет выбор ролей и стиля исполнения, поскольку отличительный характер каждой из них просвечивает сквозь все роли, которые играют кукольный «он» или кукольная «она». Почта от поклонников, телефонные отклики и т.п. адресуются не персонажам, исполняемым в конкретных пьесах, а кукольным «исполнителям», стоящим за этими разнообразными персонажами, при счастливом забвении известного каждому зрителю факта, что за всеми куклами-«исполнителями» скрываются двое одних и тех же мужчин. Перед нами здесь случай «переключения» ограничений при определении рамок действия.

Последнее замечание. В американском обществе (как, вероятно, во всех других) существует понимание того, что данный индивид может исполнять разные роли в разных обстановках, и людей не очень смущает факт, что там везде действует один-единственный, тот же самый индивид. (Потому-то мне и было так легко употребить выше словосочетание «двое одних и тех же мужчин».) В самом деле, это ведь основополагающее допущение об исполнении любой конкретной роли, что ее исполнитель имеет за пределами данного исполнения долгую продолжающуюся биографию, неповторимую непрерывную личную идентичность, хотя и совместимую и согласующуюся с рассматриваемой конкретной ролью. К примеру, продавец обуви обслуживает родственника, и хотя это нарушает обычное «разделение аудиторий» (перед которыми продавец выступает в разных ролях) и способно вызвать легкое смущение у обоих, но его, как правило, можно снять шуткой или снижением цены. И в конце концов, вряд ли обслуживаемый родственник должен удивляться тому, кого он нашел в магазине, поскольку, вероятнее всего, и выбрал-то этот магазин по причине работы в нем родича⁵¹. Отсюда следует, что в точном смысле в процессе принятия на себя

⁵⁰ См. раздел «Театральное обозрение» в: Time. Mini Music Hall. January 4. 1971.

⁵¹ Развитуую аргументацию см.: Е., особенно р. 141.

какой-то социальной роли индивид обретает не личную, биографическую идентичность (будь то роль-партия в непосредственном взаимодействии или характерный персонаж в жизненной ситуации), а просто некое местечко в существующей социальной категоризации, то есть социальную идентичность, и только через нее частичку своей личной идентичности. Но если индивид выступает в поддельной роли, самозванно изображая доктора, газетчика или лицо другого пола, тогда это принятие фальшивой социальной роли влечет также приобретение им облика фальшивого персонажа или индивидуальности, причем ровно настолько, насколько глубока укорененность рассматриваемой роли в биографии исполнителя при обыкновенных условиях.

IV. Преемственность ресурсов взаимодействия

Все, что происходит внутри проинтерпретированного и организованного потока деятельности, пользуется материалом, который поступает из внешнего мира и в какой-то прослеживаемой преемственности своего содержания должен возвращаться в мир. Шахматные фигуры приходится вынимать из футляра в начале игры и возвращать обратно после ее окончания. Даже если игроки и фигуры рассеялись бы в дым во время игры, то и дым можно представить как распознаваемый результат физического преобразования того, что было. (Если бы Айрин Уэрт, играющую Силию в пьесе «Вечеринка с коктейлями», реально кусали муравьи, она не смогла бы каждый вечер раскланиваться перед занавесом; но даже если мисс Уэрт была бы съедена муравьями – конец, на который некоторые зрители благочестиво надеялись, – ее чувства и ее букли предположительно остались бы и могли бы быть опознаны как именно ее чувства и букли.) Каждый артефакт и человек, втянутый в организуемую рамочным форматом деятельность, имеет прошлую и продолжающуюся в будущее биографию, то есть какую-то прослеживаемую жизнь (или остатки оной) до и после определенного этапного события, и потому каждая биография обеспечивает преемственную абсолютную различимость своего предмета или его самотождественность⁵². Так, после уборки любительской труппой реквизита, который помог превратить современное помещение в место сценки из викторианской эпохи, и ухода зрителей, все еще остается скучная обязанность возратить взятые займы предметы добрым соседям, одолжившим их.

Факту преемственной непрерывности ресурсов взаимодействия может быть придан научный блеск ссылкой на основные законы физики о сохранении вещества: эти принципы применимы независимо от того, что и где происходит. Соответствующий вывод относительно социальной сферы таков, что все мы живем в мире, который в общем, по нашим предположениям, постоянно имеет остаточный характер. Раз некое событие происходит, мы предполагаем, что от него останется постоянный след и что, при достаточном изучении и пытливости, можно открыть какие-то данные об этом событии.

⁵² Количество имеющихся доказательств этой непрерывности не так важно, коль скоро у нас есть какие-то немногие свидетельства, ибо эти немногие, если они обоснованы, дают все, что нам нужно. Так, в некоторых видах искусства удостоверение подлинности произведения может включать вещи, не очень связанные с тем, о чем обычно думают как о заслуживающем награду элементе в сфере искусства. Нельсон Гудман предоставляет на этот случай полезный комментарий:

«Для признания оригиналом отпечаток гравюры должен быть получен с определенного клише, но не обязательно исполнен самим художником. Более того, в случае гравюры на дереве художник иногда только набрасывает рисунок на деревянной форме, доверяя исполнение резьбы кому-нибудь еще. По рисованным доскам Ханса Хольбейна, например, ксилографические клише обычно резал Лутцельбергер. Установление подлинности авторства в искусстве всегда зависит от наличия необходимых сведений об истории, порой весьма запутанной, создания данного произведения, но эта история не всегда предполагает в итоге его исполнение первоначальным художником» (Goodman N. *Languages of Art*. Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., p. 119).

В искусстве скульптуры точка разрыва непрерывности авторства на ряд копий достаточно очевидна, например, в случае *signtoulage*, неавторизованной отливки с оригинального экземпляра. Но если дюжина отливок с первоначальной формы признана авторской самим ваятелем, все они считаются подлинными. Тринадцатая копия, сделанная без авторского удостоверения художника хотя бы и в мастерской, где хранится форма-оригинал, будет подделкой, но нить доказательств, которая установит сей факт, должна оперировать историей принятия решений, а не анализом достоинств произведения искусства.

Остаток – это не недостаток, а основание для поиска. Когда есть основание, как при проверке претендующего на историчность документа, тогда поиск восстанавливающих прошлое данных может стать весьма впечатляющим⁵³. И настает основательная дезориентация в окружающем мире, когда индивид убежден, что событие имело место, но потом обнаруживает, что не может доказать это другим. Повести в жанре детектива «Леди исчезает» эксплуатируют эту тему.

Предположение о преемственности ресурсов взаимодействия лежит в основе наших понятий подделки и самозванства, где первое относится к материальным объектам, а второе – к людям. Разумеется, об усилиях и средствах их разоблачения в обоих родах деятельности имеется обширная литература⁵⁴.

Одно из интересных проявлений преемственной непрерывности ресурсов – это то, что называют «стилем», а именно, устойчивая узнаваемость выразительных средств в поведении человека. Так, когда индивид втягивается в какой-то вид деятельности, тот факт, что действует именно он и никто другой, будет проявляться через «выразительные» (экспрессивные) составляющие его поведения. Исполнение индивидом стандартной социальной рутины обязательно включает и такое самовыражение. Стиль здесь относится к преобразованию, систематическому видоизменению какого-то вида деятельности благодаря особенностям исполнителей. Сложно составить, по-видимому, общее понятие стиля. Существует стиль конкретного актера, конкретной театральной труппы, конкретного театрального периода. Существует лингвистический стиль конкретного языкового сообщества, который означает, в частности, что при переводе с одного языка на другой лексические и грамматические ограничения не будут только такими, которые преодолевать легко и приятно⁵⁵. Существуют культурно различимые стили изображения в живописи:

«Для египтянина эпохи Пятой династии правдивый способ изображения чего-либо – не такой как для японца XVIII в., и оба способа не устроят англичанина начала XIX в. Каждый из этих людей сперва должен был бы в какой-то мере научиться, как читать картину в любом другом стиле. Эта относительность затемняется нашей склонностью опускать установочную систему координат восприятия, когда она наша собственная»⁵⁶.

То же относится и к движущимся картинам – к кино. Если в качестве эксперимента предложить сделать любительский фильм индейцу племени навахо, он наверное снимет другие кадры, чем более поздние обитатели Америки, и смонтирует отрывки из отснятого материала в иной последовательности – короче, проявятся различия в «повествовательном стиле»⁵⁷. Можно говорить также о стиле конкретного игрока в шахматы и стиле, допустим, советских игроков в отличие от американских. Существуют национальные стили дипломатии или, по меньшей мере, тенденции в этом направлении⁵⁸. Банда воров тоже

⁵³ Полезный обобщающий источник об исторических разысканиях см.: Winks R. W. *The Historian as Detective*. N. Y.: Harper & Row, 1970.

⁵⁴ Аналитически обстоятельное толкование феномена подделок в искусстве можно найти у Гудмана, который, между прочим, вооружает нас также комментариями по вопросу преемственности ресурсов: «Обобщающий ответ на наш несколько щекотливый второй вопрос о подлинности можно суммировать в немногих словах. Поддельное произведение искусства есть объект, обманно претендующий иметь за собой историю создания оригинального произведения» (Goodman N. *Languages of Art*. Indianapolis: Bobbs-Merrill Co., 1967. P. 122).

⁵⁵ Обсуждение проблемы языка как стиля см.: Hymes D. *Toward Linguistic Competence* / Unpublished paper, 1973.

⁵⁶ Goodman N. *Op. cit.* P. 37.

⁵⁷ Worth S., Adair J. *Through Navaho Eyes*. Bloomington: Indiana University Press, 1972. Chap. 9-10.

⁵⁸ См., например:

«Западные дипломаты отличаются пройденным курсом обучения и культурными традициями. Эти отличия, возможно, как-то отражаются в их методах ведения переговоров, но обычно они недостаточно глубоки, чтобы создать отчетливо узнаваемый стиль переговоров. Более важны различия в структуре управления, определяющей внутривнутриполитические ограничения, с которыми должен считаться каждый участник переговоров. Эти ограничения, однако, меняются в зависимости от темы переговоров. Примером чего-то похожего на постоянную характеристику национальной дипломатии является высокая чувствительность американских

может иметь стиль, свой характерный *modus operandi*. Говорят о мужском и женском стилях игры в покер⁵⁹. И в самом деле, каждую из наших так называемых «диффузных» (широко распространенных) социальных ролей можно частично рассматривать как стиль, а именно, как определенную манеру ведения дел, которая «подходит» данному возрасту, полу, классу и т.д.

Можно размышлять о стиле как переключении деятельности, открытом и свободном изменении чего-то по образцу чего-то еще (или после изменения чего-то еще). Но при этом неизбежны оговорки. По-видимому, стиль часто подразумевает очень незначительное переключение на иной регистр или, по меньшей мере, такое изменение, которое позволяет нам чувствовать, что деятельность, стилизованная в одном направлении, очень мало отличается в своих последствиях от той же деятельности, стилизованной в другом направлении (это верно не для всех переключений). Далее, переключение, по определению, есть открыто признанное, свободное изменение деятельности. Стиль коробит нас как фальшивый, если он не свободный, корыстно умышленный, и в случае *modus operandi* преступника это может всплыть наружу, несмотря на усилия обладателя преступного почерка замаскировать свое авторство.

Стиль, конечно, часто используется в качестве средства идентификации в отношении как людей, так и их произведений. Следовательно, когда требуется опознание личности творца или установление подлинности произведения, стиль может стать здесь решающим фактором. При этом отметим, что стиль может систематически подделываться. Еще более распространено передразнивание стиля в игровых целях: стандартные примеры этого – сатиры, пародии и карикатурные подражания. При формировании образа другого человека нас привлекают по возможности такие аспекты его стиля, какие мы в состоянии сформулировать и использовать (наряду с особенностями стиля, которые мы ему приписываем, но которых в действительности нет) в качестве ядра, вокруг которого строится идентификационный портрет. Итак, стиль – это нечто привносимое действующим лицом в свои поступки, и также нечто такое, что, как нам очень хочется думать, мы чувствуем.

Стиль тогда можно рассматривать как свойство любой конкретной деятельности, свойство, которое творец этой деятельности вносит во все ее продукты и которое в той или иной форме присуще ему непрерывно. Но, конечно, и другие свойства будут проявлять подобную непрерывность. Человек, которому предстоит играть Гамлета, должен выучить роль, но обычно его не надо учить театральному английскому языку, если только он не настоящий принц. В частности, наверно, работа профессиональным актером гарантирует, что такой человек уже знает, как говорить в театральной манере, и способен вносить это свое качество (увы!) в любой персонаж-характер, который он обязан изображать. Во время же профессионального становления и изучения театрального английского ему, вероятно, не нужно будет учиться обычному английскому (по крайней мере, в полном объеме), поскольку как предполагается, это качество необходимо человеку для исполнения любой роли, которую он принимает на себя, – будь то роль профессионального актера, юриста или отъявленного жулика. Кроме того, однажды исполнив роль Гамлета в спектакле, начинающий актер, наверно, сможет в следующем войти в роль быстрее, не тратя так же много времени на заучивание текста: его память, хотя бы в малой степени, поможет ему. И, возможно, тот, кто распределяет роли в пьесе, возьмет в расчет как важный фактор наличие этой актерской

дипломатов к общественному мнению, которая может быть вызвана и культурными факторами и конкретными чертами американской политической жизни. Французские дипломаты склонны разрабатывать историко-философские темы в качестве основания для выработки своей стратегии переговоров, возможно потому, что их образование делает сильный акцент на сочинении синтезирующих эссе. Немецкие и американские договаривающиеся стороны порой гораздо больше напорают на правовые аспекты спорного вопроса, чем дипломаты большинства западных стран, вероятно, из-за важной роли, которую юристы играют во внешней политике Бонна и Вашингтона» (Ikle F. Ch. How Nations Negotiate. N. Y.: Harper & Row, 1964. P. 225-226).

⁵⁹ Uesugi T., Vinache W. Strategy in a Feminine Game // Sociometry. 1963. Vol. 26. P. 75-78.

памяти. Так что память – это, конечно же, элемент ресурсов, которые индивид вкладывает в роль. Именно поэтому персонал, имеющий доступ к стратегической информации, порождает специальные проблемы для правительства и деловых кругов. Составляющие этот персонал наемные работники могут уйти по собственному желанию, быть уволены администрацией или выйти на пенсию. Но после прекращения трудовых отношений их память нельзя отключить и потому они продолжают интересоваться менеджментом⁶⁰. Сравнительно свежий пример этого – явная озабоченность канцелярии президента тем, что бывшие горничные, повара, шоферы, помощники и министры президентского кабинета все охотнее готовы продавать свои воспоминания, порою марая и подрывая ими репутацию самого главного чиновника страны⁶¹.

В таких случаях становится очевидным, что никакая деятельность не переделывает людей полностью. Это так даже в тех видах деятельности, самой природой которых предначертано освобождать берущихся на них людей от лишнего социального багажа, и тем позволять им максимально погружаться в работу здесь и сейчас. Таковы, например, сложные игры вроде шахмат и бриджа. Поэтому, если противники там сначала не подобраны по уровню мастерства, то у них будет мало шансов на стихийное развитие страстной поглощенности игрой. Но в дальнейшем, хотя игра, подобная бриджу, навязывает случайную раздачу карт и крайне неполную коммуникацию между партнерами, все же она пример взаимодействия, где индивиды, долгое время игравшие друг с другом как партнеры, получают большие преимущества. Во всем этом еще раз можно увидеть, что пока деятельность требует материалов любого рода, включая индивидов, целый спектр связей будет соединять ее с пребывающим в движении миром – миром, из которого определенные ресурсы деятельности приходят и в который они возвращаются.

V. Несвязность смежных проявлений деятельности

Рассмотрим теперь связь деятельности с контекстом, который на первый взгляд может показаться вообще не имеющим к ней никакого отношения, если предположить, что каждая деятельность будет происходить в среде, плотно набитой другими событиями, которые должны приниматься как не связанные и не соотносящиеся с изучаемым событием в этом мире случайности, безразличия и т.п. Даже если действующий индивид использует свойства непосредственного окружения, откровенно предполагая, что они ему пригодятся, он вполне способен согласиться с тем, что во многих отношениях используемый им материал присутствует у него под рукой по причинам, безразличным к его собственным соображениям⁶². Отсюда итог: одно из отношений, которое мы имеем к нашему непосредственному окружению, заключается в том, что некоторые элементы этого окружения не имеют к нам никакого отношения.

Как упоминалось в первой главе, ряд используемых нами терминов служит разъяснению мнения, что ближайшие друг к другу проявления деятельности могут почти не иметь связи друг с другом. Для обозначения таких непредвиденных проявлений, к добру или ко злу возникающих рядом с нами, могут понадобиться термины «удача» и «несчастный случай». Термин «небрежность» относится к незапланированным столкновениям с

⁶⁰ Права на этот интерес иногда пытаются защитить законодательно. Так, в книге Аллена Даллеса читаем: «Практические тяготы, навлекаемые карьерой разведчика на человека и его семью, частично обусловлены секретностью, под покровом которой должна делаться вся тайная работа разведки. Каждый ее работник подписывает служебную присягу, которая обязывает не разглашать ничего из узанного и сделанного им во время службы любому не уполномоченному на то лицу, и это обязательство действует даже после возможного оставления государственной службы» (Dulles A. *The Craft of Intelligence*. N. Y.: New American Library, Signet Books, 1965. P. 168).

В Британии похожую функцию исполняет Official Secrets Act (Закон о служебных секретах), представляющий собой замечательный механизм для постановки интересов государства выше любого возможного толкования расхождений между интересами частного лица и его официальной ролью.

⁶¹ См., напр., статью: Sidey H. *Memoirs Come to Market* // *Life*. February 13. 1970.

⁶² Более подробно см.: *Normal Appearances* // R. P., P. 310-328.

болезненными последствиями – столкновениям, которых заранее следовало остерегаться и избегать и за которые мы считаемся в какой-то мере ответственными. Термин «совпадение» иногда относится к контакту двух сторон, которые имели раньше какие-то отношения друг с другом, но в этот раз не ждали и не предвидели встречи. И, наконец, термин «счастливый случай» (happenstance) можно отнести к встречам, которые никак не планировались и после которых между сторонами установились некие устойчивые отношения в результате случайно завязанного контакта.

Несвязность пространственно близких событий возникает и может наблюдаться и одномоментно, в любой конкретной точке времени и на протяжении какого-то периода времени, так сказать, в глубину. Второе измерение связывает рассмотрение несвязности с понятием преемственной непрерывности ресурсов, так как любое прослеживание назад во времени любого элемента в ситуации, по всей вероятности, приведет к источникам вне круга тех из них, которые прямо участвуют в текущей деятельности. Теоретически, к примеру, происхождение стула можно отследить до лесного дерева, из которого была получена поделочная древесина, но это дерево не выращивалось для того, чтобы сделать из него именно этот конкретный стул. И уж наверное этот стул не покупался в определенном магазине с целью обеспечить сиденьем определенного участника конкретной деловой встречи. Но если в стуле есть «жучок» для подслушивания, то прослеживание происхождения стула скорее всего обнаружит свидетельства нарушения несвязности событий, приведших к сиденью с «жучком» в таком месте.

К этому добавим еще один пункт. В предыдущей главе рассматривался процесс отвлечения внимания и способность участников какой-то деятельности работать при этих условиях со множеством событий. Теперь должно стать очевидным, что участники имеют возможность справляться с подобным напором событий, вследствие предполагаемой их несвязности, с ближайшей задачей, с насущным делом. При отсутствии какой-либо запланированной связи между отвлекающим внимание событием и выполняемой деятельностью, ее участникам нужно лишь предвидеть возможные последствия этого события, чтобы вовремя отстраниться от него. Если это сделано, на такое событие практически можно не обращать внимания.

VI. Человеческое существо

Вряд ли возможно говорить об укоренении в широком мире всего делаемого человеком без какого-то представления о том, что поступки каждого отдельного лица частично являются выражением и результатом его скрытого Я, его личности, и что это Я будет присутствовать во всех конкретных ролях, которые индивид исполняет в любой конкретный момент. В конце концов, в результате всех и всяких наших дел и контактов с данным индивидом мы приобретаем живое чувство его личности, его характера, его качества как человеческой особи. Мы начинаем ожидать, что все его поступки явят один и тот же стиль, будут носить особый отпечаток. Если каждый отрезок человеческой деятельности имеет разветвленные связи и корни в окружающем мире, так что эта деятельность несет на себе приметы источников своего происхождения, тогда вполне разумно полагать, что корни каждого высказывания или физического действия, вносимого данным индивидом в текущую ситуацию, надо искать в его биографической, личной идентичности, в его личном самосознании. Из-под личины сиюминутной роли будет выглядывать сам человек. Фактически, это общепринятый способ определения рамочного формата нашего восприятия другого человека. Поэтому, да здравствует человеческое Я! Теперь же попытаемся прояснить нашу болтовню.

Начнем с простого. В популярной серии комедийных радиопередач занят небольшой постоянный состав исполнителей, каждый из которых, по мере того как серия продолжается и нащупывает формулу успеха, приобретает ярко выраженную личность, собственную узнаваемую слушателями идентичность в списке действующих лиц серии. Каждый радиоперсонаж становится для аудитории таким же близким и человеческим, какими бывают

люди рядом с нами. И вот именно таким радиоперсонажам доверяют играть характерные роли в скетчах, из которых состоит еженедельный спектакль. Манера речи и произношения, которую выработала каждая личность из действующих в этой серии персонажей и с которой она срослась и самоотождествилась, каждую неделю частично растворяется в том характере, который в этот раз предстоит играть этой созданной сериалом личности. И еще больше добавляет юмора в радиопередачу возможность послушать, как личность персонажа, которую по сериалу мы хорошо знаем, вынуждена приспособливаться к особенностям новой конкретной роли и все-таки по природе своей оказывается неспособной отойти от себя достаточно далеко. В таких радишоу предварительно часто объявляют список ролей, а не состав актеров, подобранных на эти роли, так что первые произнесенные слова сообщают слушателям, «кто» именно [из персонажей сериала] собирается исполнять такую-то роль и какие веселые испытания легковерия публики ожидаются. Сильный комический эффект получается, когда такая рожденная в сериале личность вдруг обнаруживает, что ей навязали слишком неподходящую роль, и находит комическую причину, чтобы хоть на миг снять личину этой роли и бесшабашно дерзко вернуться к своему «истинному» Я, после чего восстанавливает самоконтроль и снова исчезает в назначенной роли.

Далее происходит вот что: следящие за этим радишоу опытные слушатели начинают понимать, что личность, изображаемая каждым исполнителем на протяжении нескольких его ролей, сама может быть целиком притворной или, по меньшей мере, приспособленной с целью усилить впечатление от себя как типичного воплощения одного из возможных образов жизни. И в самом деле, более пристальное изучение таких радиовоплощений показывает, что и в этом случае имеет место нечто подобное ранее упомянутому кукольному шоу, поскольку оказывается, что весь радиоспектакль разыгрывается тремя или четырьмя реальными живыми исполнителями, каждый из которых изображает двух или более персонажей из списка действующих лиц. И те особенности личности, которые исполнители доносят до слушателей через особенности характера одного из своих персонажей, сами оказываются притворными, инсценированными. Это еще раз напоминает нам, что живое ощущение человеческой сущности исполнителя каким-то образом порождается заметной рассогласованностью между его ролью и представляемым им другим людям характером-персонажем, причем такая рассогласованность сама может быть сфабрикована ради производимого ею эффекта. Если это верно для восприятия контрастов между ролью и характером-персонажем, то что сказать о контрастах между конкретным лицом (человеком) и исполняемой им ролью?

Обратимся теперь к беллетристике: роману, повести и рассказу. Как предполагается, писатель волен выбирать степень своего открытого присутствия в тексте: он волен ясно высказываться устами конкретного персонажа-характера и, если захочет, вводить некий безличный неперсонифицированный голос, сквозной сопроводительный комментарий которого может быть только его собственной «авторской речью». Подобно тому как манера и содержание речи его (писателя) характерных персонажей передают образы их личности, так и манера авторской речи и вообще решения писательских задач будет, по всей видимости, передавать образ личности и мыслей автора. Поэтому важной частью всего того, что читатель выносит из своего чтения любого произведения, оказывается опыт контактирования с его автором-писателем. Ибо автор этот предстает (да и должен быть таковым в действительности, иначе его бы не очень-то читали) человеком тонкого ума, обширных знаний и острого психологического чутья, который к тому же надеется, что его читатель способен оценить эти качества, иначе автор не стал бы писать. В этом отношении театральная форма произведения отличается от беллетристической, ибо в пьесах писатель вынужден говорить исключительно устами своих персонажей, так что высказанные ими

добродетели обычно и приписываются им, а не ему⁶³. Это верно (хотя, возможно, в меньшей степени) и для других писаний, не относящихся к художественной прозе⁶⁴.

Однако вышеописанное чувство личности автора может быть всего лишь поверхностным, иллюзорным впечатлением читателя. С текстом в качестве единственного источника для выводов в лучшем случае можно получить какой-то частичный портрет, ибо очень многое о писателе никогда не попадает в печать. Но еще важнее факт, что все попадающее в печать не относится к проявлениям стихийного безыскусного самовыражения. В конце концов, писатель и его редакторы имеют достаточно времени, чтобы поработать над текстом. Промахи вкуса, памяти и интеллекта можно исправить. Орфографические и грамматические ошибки, повторения, плохие каламбуры, слишком назойливое употребление некоторых излюбленных слов и другие компрометирующие особенности текста можно вовремя заметить и устранить. Отдельные фразы можно иначе повернуть, интонировать и смягчить. Если в одном варианте автор покажется гоняющимся за эффектом, то в следующем он может постараться устранить такое впечатление. Фальшивые ноты надо уловить еще, так сказать, на репетиции и правильно сыграть все заново. Ведь очевидно, что если пренебречь такой отделкой текста, критики быстро заметят и не одобряют сей факт. Поэтому те качества ума и душевной чуткости автора прозы, которые читатель выводит из его писаний, оказываются не менее трудоемким произведением искусства, чем качества личности того персонажа, которого рождает из небытия слова какого-нибудь драматурга. И хотя мы как читатели достаточно подготовлены, чтобы понимать фиктивность представляемых автором персонажей вместе с их личными качествами, сама живая память о наших собственных качествах, видимо, заставляет нас допускать, будто чувствуемая по произведениям личность писателя реальна. Мы отзываемся на то, что ощущаем стихийным, непосредственным, не рассчитанным и что поэтому кажется органически присущим писателю как личности. Все это означает, что работа писателя заканчивается, когда он добивается нужного впечатления, и что материал вымышленных сюжетов, интересных для общества тем и труда других писателей превращается им в выставляемые напоказ личины, прикрывающие собственное лицо. Тому, кто подпишется под этим последним предложением, придется принять кое-какие редакторские предосторожности, дабы оно не самоотрицало того, что утверждает⁶⁵.

⁶³ Как заметил Патрик Кратуэлл в одной своей весьма ценной статье:

«...персонажи-характеры драмы должны сами объяснять свои действия и свои высказывания, тогда как в романе или эпической поэме у писателя всегда есть возможность прокомментировать, объяснить и подсказать читателю, как следует воспринимать такой-то характер или эпизод, – и именно в таких местах в повествование обычно вносится нечто личное» (Crutwell P. Makers and Persons // Hudson Review. Vol. 12. Spring 1959 – Winter 1960. P. 495).

⁶⁴ Кратуэлл распространяет этот вывод и на личные дневники, даже не рассчитанные (бесспорно и очевидно для постороннего читателя) на публикацию (Ibid., p. 487-489). В очень поучительной статье Уолтера Гибсона данный тезис рассмотрен применительно к книжным обзорам, поскольку предполагается, что в этой литературной форме обильно используются в качестве мишени работы других авторов с целью создать у читателя мнение, что он нашел блестящего, многостороннего критика, который ценит своего читателя как достойного адресата критической эрудиции, способного ее воспринять и в свою очередь оценить. Такие обзоры насаждают образ гипотетического (Гибсон называет его «суррогатным») писателя, который на деле, вероятно, очень отличается от реально существующего, и образ гипотетического читателя, который по тем же основаниям наверное сильно отличается от читателя действительного. Позерство писателя, доказывает Гибсон, вызывает позерство у читателя. Перед нами простой случай взаимного притворства и показухи. (См.: Gibson W. Authors, Speakers, Readers and Mock Readers // College English. Vol. 11. P. 265-269.)

⁶⁵ Этот выверт – всего лишь подражание Гибсону. Извлекая на свет претензии, содержащиеся в цитированных отрывках из двух книжных обзоров, он представляет (думаю, успешно) высказывание в одном параграфе, за которым следует другой, применяющий к первому анализ, рекомендуемый в нем самом. Вот ключевое место: «Наверное никого не удивит, что первый пассаж взят из «Partisan Review», а второй – из «New Yorker». Возможно сразу следует честно признать, что суррогатный читатель, к которому адресуются авторы обзоров, – это идеальный представитель аудиторий двух упомянутых периодических изданий. Во всяком случае, кажется очевидным, что работа редактора большей частью состоит в определении суррогатного читателя его

После сказанного можно утверждать, что в беллетристике и даже в прозаических писаниях не беллетристического характера тип личности автора выявляется из его произведения, но этот тип есть искусственный продукт, артефакт процесса писания (определенно, хотя бы отчасти), а не результат некоего органичного самовыражения действующей индивидуальности в своих действиях. Достаточно также, что канал, через который такая искусственная проекция осуществляется, – это не основной канал, по которому движется нить повествования: фактически, писатель больше полагается на вспомогательные каналы, а именно, на те аспекты дискурса, которые не должны прямо привлекать внимание. Поэтому сам факт, что впечатления об авторе так или иначе передаются не прямо, безусловно должен быть осмыслен не как личная черта, на которую мог бы непосредственно претендовать автор, а как свойство определенных каналов коммуникации в такой же мере как и свойство человека.

Теперь рассмотрим реальное взаимодействие лицом к лицу между индивидами. И в этом случае мы обнаруживаем, что необходимо различие между индивидом как самотождественной, длящейся во времени сущностью и ролью, которую ему случается играть в определенный момент. Вдобавок, именно это различие, будучи замеченным другими, несет известную нагрузку по передаче информации о личности⁶⁶. И такого рода информация о существовании «ролевой дистанции» большей частью тоже будет проходить по второстепенным путепроводам. Но хотя подобный стилистический переход от личной идентичности к текущей роли можно толковать как еще один поворот смысла, в котором поведение индивида заземлено или укоренено в чем-то вне самого себя, я не думаю, что именно в этом надо в первую очередь искать объяснение.

Возможно, мы отыщем путеводную нить, если снова присмотримся к писательской продукции. Последуем за аргументацией Гибсона:

«Большинство преподавателей литературы согласны в том, что жизненные установки, выраженные «влюбленным» в любовном сонете, нельзя бездумно смешивать с какими бы то ни было установками самого сонетиста, проявленными или не проявленными в реальной жизни. Техника исторического анализа пригодна для жизнеописания этого автора, но в конечном счете учителя литературы должен интересовать лирический герой, тот голос или условная маска, через которую некто (кого мы вполне можем назвать «поэтом») сообщается с нами. Именно лирический герой «реален» в смысле, наиболее полезном для изучения литературы, ибо он «сделан» исключительно из материи языка и его Я целиком представлено перед нами на раскрытых страницах»⁶⁷.

Что верно для авторов сонетов, то верно и для создателей беллетристики, писателей-прозаиков. Очевидно, что автора прозы нельзя отождествлять с каким-то конкретным персонажем-характером в его повествовании, хотя бы потому что он сумел создать много персонажей, каждый из которых предположительно сам претендует на частичное отражение личности автора. И как мы получаем впечатление о каждом персонаже, так же получаем и впечатление (или скорее собранное из разрозненных мелочей впечатление) об авторе. И подобно тому как мы опираемся на сказанное и сделанное конкретным персонажем или в связи с ним при формировании нашего впечатления о его характере, мы склонны полагаться на все содержание беллетристического произведения, чтобы получить какое-то впечатление

журнала и что редакционная «политика» сводится к решению или предсказанию относительно той роли или ролей, в которых потенциальные покупатели предпочли бы вообразить себя. Так же и человека, перелистывающего страницы за журнальным столиком, как следствие занимает вопрос: кем я хочу притвориться сегодня?

(Суррогатный читатель этой статьи числит среди многих своих впечатляющих достоинств факт бытия в разное время «искусственным» читателем «New Yorker» и «Partisan Review».)» (Gibson W. Authors, Speakers, Readers and Mock Readers // College English. Vol. 11. P. 267).

⁶⁶ Обоснование см.: Role Distance, E., p. 152.

⁶⁷ Gibson W. Authors, Speakers, Readers and Mock Readers // College English. Vol. 11. P. 265.

о его авторе. Разумеется, репутация писателя вполне может предвещать нашу реакцию на данное конкретное произведение, но эта предварительная подготовка не обязательно однозначна по последствиям. Ибо заключение, к которому мы приходим, может быть получено и самостоятельно из того, что предлагает нам мир печатного слова. Мы узнаем о писателе из литературных сплетен, опубликованных и неопубликованных. Мы узнаем об авторе из его книг⁶⁸.

То же происходит во время реальных взаимодействий между реальными физическими лицами. Там мы снова увидим реакцию на роль, которую каждый участник представляет как свой покров, «облицовку» на данный момент.

И опять из-под официально носимых покровов будут проглядывать блеск, или копоть, или что-то другое. И снова возникшее ощущение «инакости», отличия человека от роли, чувство личности человека помимо роли оказывается, или безусловно может быть результатом какого-то локального и мгновенного его самопроявления. Конечно же, эта поверхностная информация будет пущена в ход. Но опять-таки это не обязательно для появления того именно вида реакции, которая произошла на деле. Чувство личности человека может возникать локально и жить недолго. Это осязаемое расхождение между человеком и ролью, эта щель, сквозь которую проглядывает человеческое Я, этот чисто человеческий локальный эффект не должен зависеть от мира за пределами текущей ситуации больше, чем зависит сама эта роль. Каков участник взаимодействия «на самом деле» – это в действительности не решающий вопрос. Вероятно, его соучастникам и не понадобится раскрывать тайну личности, даже если она фактически раскрываема. Что важно – так это смысл, какой индивид предлагает другим участникам взаимодействия своими действиями в отношении их, показывая тем самым, что он за человек помимо роли, в которой выступает. В терминологии Гибсона, эти другие участники взаимодействия интересуются лирическим героем, «поэтом», а не реальным «сонетистом». Их интересует образ автора, а не реальная личность писателя. Они имеют дело с чем-то порождаемым в противоречивых потоках непосредственного поведения интересующего их индивида. И то, что они соберут из обрывков своих впечатлений, очевидно покажет, на что похож этот соучастник коллективного взаимодействия за пределами текущей ситуации. Но каждая ситуация, в которой он действует, будет создавать у других участников какой-то подобный его образ. Именно в этом состоит то, что делают для нас ситуации. В этом же заключена причина, почему мы находим их (как и романы с их ситуациями) увлекательными. Однако нет оснований думать, что все эти ситуативно подобранные детали впечатлений о себе, которые индивид делает доступными другим, все эти указания и намеки от фактов его текущей ситуации на образ его действий в иных случаях, имеют очень много общего. Ситуационные впечатления об индивиде указывают за пределами этой ситуации на то, что, возможно, будет найдено во всех других коллекциях собранных о нем фактов, но нельзя утверждать, будто такие впечатления дают единообразные указания в одном и том же направлении, хотя по самой их природе они воспринимаются как однонаправленные.

Функция какого-нибудь выразительного, ироничного, остроумного, или поучительного замечания не в том, чтобы раскрыть либо утаить невидимую постоянную природу сделавшего его человека (ибо одно замечание, или даже роман, вряд ли способны на такое), но чтобы дать понятие о том, что участник взаимодействия вносит в него наряду с

⁶⁸ Возможное исключение из этого представляют собой книжные посвящения, так как в них писатель в некотором смысле использует авторский канал для передачи – более того, для широкого распространения – некоего личного послания в тоне, отличном от того, который он вскоре возьмет в основном тексте. Здесь уместен некий дюркгеймовский сдвиг точки зрения, как если бы самопоглощающий труд по созданию книги дал писателю право и обязанность публично демонстрировать, что у него есть отдельная, частная жизнь и есть обязательства перед нею, и в то самое время, когда люди, наполняющие эту жизнь, имеют право на признательность в посвящении. Напомним о сходном явлении присутствия жен, когда их мужья принимают свидетельство успеха или поражения на каких-нибудь выборах.

собой некий персонаж, поэтического героя или героя-автора, кому могут быть свойственны чувства, выраженные в замечании. Эти чувства действительно могут характеризовать настоящих литературных поэтов, авторов и персонажей.

Легко заметить, что характеры (персонажи), создаваемые драматургом, рассчитаны на какую-то локализованную обстановку, видимую нам, в которой они энергично расхаживают, лениво сидят или кипят страстями. Вещная обстановка ориентирует зрителя и помогает сценическим характерам говорить и действовать в определенном стиле. Каковы будут результаты – это творческая тайна драматического искусства. Но так или иначе сценические персонажи, известные как характеры, живущие только на сцене, способны по окончании этой жизни дать другим как нельзя более реальное впечатление обладания реальными личными человеческими качествами, и в самом деле очень выразительными. Да и почему бы ресурсам театральной сцены не быть достаточными для производства таких эффектов? Ее материалы – те же, что мы используем для производства наших собственных эффектов.

Поэтому мы опять сталкиваемся с возвратным (рекурсивным) характером определения формата действия. Ресурсы, используемые в любом конкретном эпизоде человеческой деятельности, обязательно имеют какую-то длительность существования: существование до начала эпизода и существование после его окончания. Но как этот факт есть часть реальности, так и осмысляющие его концепции тоже становятся частью реальности и потому оказывают дополнительное влияние на ход человеческих действий. Нет никаких «объективных» причин, почему, к примеру, флаг или любой другой предмет ритуального снаряжения нельзя было бы трактовать как священный, пока он функционирует во время какой-нибудь торжественной церемонии, и относиться к нему как к обыкновенному бытовому предмету, пока его изготавливают или когда он после использования хранится на складе в ожидании следующего церемониального действия. В общем, все так и происходит в жизни. Но более пристальное изучение откроет нам, что хотя с флагами и тому подобными предметами обращаются относительно «материалистически», когда они не используются в ритуалах, все-таки некоторые маленькие предосторожности в обращении с ними продолжают соблюдаться⁶⁹. И эта преемственная непрерывность характера обращения не навязана нам объективной непрерывностью существования материальных вещей, но нашими концепциями о непрерывности духовно-значимых предметов. Священные реликвии, сувениры, подарки и локоны волос на память поддерживают некую физическую непрерывность связи с тем, о чем они напоминают. Но именно наши культурные верования и представления о преемственности ресурсов деятельности придают таким реликвиям известное эмоциональное значение, придают им личностное звучание – так же как эти верования придают нам нашу личность.

Перевод с английского Ковалева А.Д.

⁶⁹ В случае национальных флагов не нужны глубокие исследования, чтобы это заметить. Обычно национальные государства действительно являются для нас некими священными сущностями, и большинство членов этих объединений соблюдают какой-то «этикет обращения с национальным флагом» в частной жизни и устанавливают законы об «осквернении флага», карающие за нарушения правил поведения по отношению к флагу. По этому вопросу см.: Weitman S.R. National Flags: A Sociological Overview // *Semiotica*. 1973. Vol. 8. P. 337. Подробное исследование о закулисном управлении и обращении со священными предметами см.: Heilman S. Kehillat Kidesh: Deciphering f Modern Orthodox Jewish Synagogue / Ph.D. dissertation. Department of Sociology. University of Pennsylvania. 1973. P. 101-115.

Герберт Спенсер*

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО?

Предисловие к публикации Николаева В.П.

«Основания социологии» Г. Спенсера, в отличие от многих классических социологических сочинений, имели в России, казалось бы, счастливую судьбу. Вскоре после завершения публикации этого труда в Англии был подготовлен и издан его русский перевод, да к тому же и не один. Более века отечественные читатели пользовались дореволюционными переводами и, сетуя иногда на их не очень хорошее качество, все-таки черпали из них свое представление о теориях Спенсера, увы, не всегда адекватное и точное. Есть несколько важных причин, по которым стоит перевести этот труд заново. Прежде всего, он не настолько примитивен и ветх, как иногда принято думать; восприятия этого сочинения как устаревшего во многом обусловлено тем, что вряд ли найдется сегодня кто-то, кто дочитал до конца хотя бы первый из трех его томов. О скрытых и подчас неожиданных его достоинствах убедительно написано в книге: Turner J. Herbert Spencer: A Renewed Appreciation. (Masters of Social Theory. Vol. I.) — Beverly Hills: Sage Publications, 1985. Мы, образно говоря, не настолько выросли из этой «одежды», чтобы ее игнорировать, — по крайней мере если мы не ограничиваем социологию как науку социологическими рассуждениями на актуальные темы.

Необходимо признать, что для повторного обращения к Спенсеру старые переводы «Оснований социологии» совершенно не годятся. И вот почему:

(1) Все дореволюционные переводы неполные. В них не только недостает целой части, «Религиозные институты» (а это ни много ни мало 180 страниц), но и недостает целого ряда параграфов и абзацев, исключенных по цензурным (в основном религиозным) соображениям. Кроме того, в русские издания не вошли каталоги ссылок и списки цитируемой литературы.

(2) Указанная недостача с лихвой возмещается личными вставками и пояснениями переводчиков: из настолько много, что после вычищения этих привнесений текст сокращается процентов на 20, а то и больше. Тяжеловесность спенсеровского текста, отвращающая многих от его чтения, также в основном привнесена переводчиками и не отражает дух оригинала.

(3) Дореволюционные переводы изобилуют искажениями и банальными ошибками, ненужными длиннотами и грамматическими нелепостями. К этому примешиваются цензурные «корректировки»: *Hebrews* превращаются в «один из древних народов», а *Christian* — в «цивилизованного человека», *heathen* (язычник) — в «дикаря», *Jahveh* — в «божество», *Bible* — в «древние еврейские книги» и т. п.

(4) Для конца XIX в., когда переводили Спенсера, были естественны и неизбежны неточности в передаче терминологии и сведение непривычных фраз и конструкций к привычным фоновым образцам. Например, термин «функция» передавался как «отправление», «структура» (в единственном и множественном числе) — обычно как «строение» и иногда как «структура», «институт» — как «учреждение» и т. д. Это лишь известные неточности. Есть и менее известные. Кого-то, может быть, удивит, что у

* Spencer G. The Principles of Sociology. — N. Y.: D. Appleton and Co., 1904. — P. 447-448.

© Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Перевод с английского Николаева В.Г., 2002г.

Спенсера почти совсем не встречается слово «прогресс»: этим словом, часто встречающимся в русском переводе, переводили более нейтральное *advance*. То же со словом «регресс»: у Спенсера это либо *degradation*, либо *retrogression*. Фоновая тематика прогресса/регресса в немалой степени навязана тексту Спенсера русскими переводчиками. Поэтому, когда мы читаем в дореволюционном переводе: «восходящий последовательно все выше и выше», — это понятное выражение может скрывать за собой нечто совсем другое: *carried to various stages*. Толкования многих терминов русифицированы не только в языковом, но и в социальном смысле. Например, фразе «социальная интеграция (общественное сплочение, или подчинение общества одной центральной власти)» в оригинале соответствует всего лишь *social integration*. В известном смысле, неправильно передается в переводе и такое прилагательное, как *primitive*: однозначная передача его словом «первобытный» втискивает Спенсера в контекст, из которого он явно выбивается; часто это слово точнее переводится словом «примитивный», в том смысле, в каком его употребляли в XX в. социальные антропологи. Еще интереснее со словом *evolution*: обычно его переводили как «развитие» — вместе со словами *development* и *advance*. И это в труде ученого, для которого понятие эволюции было центральным! Мало кому известно, что у Спенсера можно встретить также такие понятия, как, например, «статус», «конфликт», «репрезентация», употребляемые по крайней мере в столь же ясном смысле, как в большом массиве нынешней литературы. Однако в дореволюционном переводе их найти не удастся, потому что там их попросту нет. Приведенных примеров вполне достаточно, чтобы стало ясно: для строгой и внимательной работы с текстом «Оснований социологии» дореволюционные переводы абсолютно непригодны. Но если этот текст и нужен нам сегодня, то только для такой работы.

Отсюда, если признать полезность повторного обращения к Спенсеру, можно сделать вывод: старые переводы выполнили свою ознакомительную задачу, и теперь нужен новый перевод, полный и адекватный. Такой перевод в настоящее время готовится. Публикуемый фрагмент взят из него и представляет собой первую главу второй части указанного труда. Поскольку этот фрагмент неоднократно публиковался (в том числе в новейших хрестоматиях), читатель может сравнить новый перевод со старым и обратить внимание на разницу.

ЧТО ТАКОЕ ОБЩЕСТВО?

§ 212. Вот вопрос, который должен быть поставлен и разрешен с самого начала. Пока мы не решили, считать общество особой сущностью или нет, и пока мы не решили, должно ли общество, если все-таки считать его таковой, классифицироваться как абсолютно отличное от всех иных сущностей или как похожее на некоторые из них, наше представление об обсуждаемом предмете остается неясным.

Кто-то мог бы сказать, что общество есть лишь собирательное название для некоторого множества индивидов. Перенеся спор между номинализмом и реализмом в другую область, номиналист мог бы утверждать, что подобно тому, как существуют только конкретные члены биологического вида, а самого вида, взятого отдельно от них, не существует, точно так же существуют одни только общественные единицы, а существование общества является сугубо словесным. Приводя в пример слушателей лекции как агрегат, самим своим исчезновением по окончании лекции доказывающий, что он — не целостная вещь, а лишь некоторая группировка лиц, номиналист мог бы настаивать, что так же обстоит дело с гражданами, образующими народ.

Не оспаривая прочих звеньев этой аргументации, последнее звено можно отвергнуть. В первом случае группировка временная, во втором — постоянная; но именно в постоянстве

отношений между частями состоит индивидуальность целого, отличная от индивидуальностей его частей. Масса, разбитая на куски, перестает быть единой вещью; и наоборот, камни, кирпичи, деревянные балки, не имевшие вначале ничего общего, становятся вещью, называемой домом, если соединены друг с другом определенным образом.

Таким образом, у нас есть все основания рассматривать общество как особую сущность; ибо хотя оно образовано из дискретных единиц, сохранение известного общего сходства в упорядочении этих единиц в пределах ареала, занимаемого образуемым ими агрегатом, предполагает некоторую конкретность этого агрегата. Именно эта черта дает нам идею общества. Ибо, отказывая в этом названии изменчивым скоплениям, создаваемым первобытными людьми, мы применяем его только там, где оседлая жизнь уже привела к некоторому постоянству в распределении составляющих общество частей.

§ 213. Но если рассматривать общество как вещь, то что за вещь мы должны называть этим именем? Общество кажется не похожим ни на один из объектов, известных нам благодаря органам чувств. Никакое сходство, коим оно может обладать с другими объектами, не может быть явлено восприятию; его может разглядеть только разум. Если общество делают особой сущностью постоянные отношения между частями, то возникает вопрос, не сродни ли эти постоянные отношения между его частями постоянным отношениям между частями других сущностей? Единственным мыслимым сходством между обществом и чем-то еще может быть сходство, обусловленное *параллелизмом принципа, заключенного в упорядочении компонентов*.

Есть два больших класса агрегатов, с которыми можно сравнивать общественный агрегат: это неорганические и органические агрегаты. Схожи ли свойства общества со свойствами неживого тела; схожи ли они со свойствами живого тела; или они совершенно не похожи ни на те, ни на другие?

Первый из этих вопросов достаточно лишь задать, чтобы ответить на него отрицательно. Целое, состоящее из живых частей, не может быть похоже по своим общим характеристикам на безжизненное целое. На второй вопрос, не допускающий столь быстрого ответа, следует ответить положительно. Далее мы должны рассмотреть основания, позволяющие нам утверждать, что постоянные отношения между частями общества аналогичны постоянным отношениям между частями живого тела.

Перевод с английского Николаева В. Г.

РЕЦЕНЗИИ

*Здравомыслов А.Г.**

«ГЛАЗАМИ ДОБРОГО СОСЕДА»

Койвисто М. «Русская идея». М.: Весь мир, 2002. – С. 243.

Русская идея

С позиций социологической теории важно отметить, как по-разному воспринимаются те или иные речевые обороты-штампы (стереотипы) в нашей стране и вне нее. Так, в российском контексте, особенно в философском обрамлении, «русская идея» подразумевает комплекс размышлений об особом пути российской цивилизации, которой присуща духовность, соединенная с православием, монархическими традициями, особой исторической миссией и т.д.

Автор рассматриваемой книги, президент Финляндии в 1982–1994 гг., Мауно Койвисто вкладывает в данное понятие свой смысл, а именно: реальность бытия самой России в ее истории и современности.

Важным представляется следующее утверждение – в Финляндии наша страна не воспринимается сейчас как угроза, хотя М. Койвисто отмечает, что его собственное воспитание прошло в атмосфере страха перед Россией. Этот страх «отчасти подпитывался историческим опытом Финляндии последнего периода автономии, или, как говорили в народе, "русского владычества", а также периода Второй мировой войны» (с. 8).

Книга примечательна тем, что автор претендует на выражение позиции «Финляндии» по отношению к «России». На это вновь необходимо обратить внимание именно с социологических позиций. Таких книг о России, где декларировалась бы претензия на выражение точки зрения какой-либо страны, мало. Ведь обычно авторы книг о странах либо пишут «от имени науки», либо ограничиваются тем, что высказывают свою личную точку зрения. Что касается М. Койвисто, то он автор необычный. Хотя он и социолог (доктор социологических наук), он все же в прошлом крупный государственный деятель и политик, для которого судьба его большого соседа никогда не была безразличной. Это понятно, особенно если иметь в виду заключительное рассуждение автора: *«Слабость России, свидетелями которой мы являемся, – это исключительное, временное явление. Русские будут стремиться преодолеть нынешнюю слабость и найдут средства для укрепления внутреннего порядка»* (с. 236).

В молодости М. Койвисто знакомился с марксизмом-ленинизмом, чтобы познать идеологию, против которой нужно бороться, и государство, которое воспринималось как угроза. Он признается, что его «воображения в области большой политики не хватило на большее, чем на представление о сохранении в дальнейшем сложившегося порядка вещей: Советского Союза как единого государства и разделенной на два государства Германии. Впрочем, я не был одинок в этой убежденности» (с. 8).

* Здравомыслов Андрей Григорьевич, доктор философских наук, профессор, экс-президент Профессионального сообщества социологов (Москва).

© Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Здравомыслов А.Г., 2002г.

Автор считает, что распад Советского Союза и «государственно-социалистического блока» мог бы произойти и иначе, чем это случилось на самом деле. «*Могло быть и хуже, значительно хуже!*» (с. 9). Это очень важная констатация, поскольку многие российские аналитики предполагают «лучшие», «более благоприятные» с точки зрения сохранения советской государственности варианты.

Читатель найдет в книге немало интересной информации. Например, о том, что именно Александр I возвел финнов в ранг европейской нации, или о том, как царское правительство способствовало культурному самоопределению финнов, поддерживая и проводя в жизнь крупные проекты в области градостроительства, образования и культуры.

Книга представляет собой серию очерков, причем большинство материалов касаются XIX века. Общее отношение к русским выражено следующим образом: «У русских более богатый внутренний духовный мир, и поэтому они живут более достойной жизнью... Особенностью русского православного мышления является убеждение, что не следует бояться страданий, гедонизм в принципе ему чужд, это, однако не означает, что к страданиям нужно стремиться, хотя в монастырской жизни распространена мысль о том, что если человек подвергается испытаниям, это облагораживает и вознаграждает его. Отсюда следует, что люди в России готовы к страданиям больше, чем на Западе. Это помогало им пережить многое, когда они видели перед собой высокую цель» (с.110–111).

Этот культурный стереотип, который, разумеется, не покрывает всего многообразия русских социальных типов, в какой-то мере является лестным для русского национального самосознания. Заметим, попутно, что, по данным опросов общественного мнения, проведенных за последние годы, финны стоят достаточно высоко на «лестнице» симпатий россиян к иным нациям.

Остановимся теперь на нескольких сюжетах, представляющих интерес для российского читателя, и прежде всего, для специалиста, мыслящего в категориях «социологии пространства».

О сферах интересов в пространстве мировой политики

М. Койвисто пишет: «Согласно российскому мышлению, страна, которая когда-то была завоевана Россией, остается ее частью. Таким образом, и мы в Финляндии, согласно этой логике, по-прежнему остаемся в сфере интересов России» (с. 236).

На эту тираду хотелось бы ответить в евангельском духе: «Пилат спросил Его: Ты царь Иудейский? Он же сказал ему в ответ: ты говоришь» (От Марка. 15, 2).

Во всяком случае из некоторых публикаций о России видно, что и Россия остается в сфере интересов Финляндии (напр., Маркку Кивинен. Прогресс и хаос. Социологический анализ прошлого и будущего России, С-Пб, 2001.) Роль ее в европейско-российских связях возрастает благодаря тому, что Финляндия остается единственным из членов ЕС, которая имеет общую границу с Россией. На мой взгляд, вполне правомерно говорить о российско-финском культурном пространстве, вбирающем в себя имена (Баратынский, Репин, Сибелиус и многие другие), учреждения (Университет Хельсинки, Алексанттери Институт), страницы истории: самый продолжительный период добрососедства, и относительно краткий период противостояния. Существует и то, что обычно называют финно-угорским компонентом в русской культуре – в прошлом чудь и весь, а ныне карелы, марийцы, удмурты, коми, мордва и др., который не затрагивается в рассматриваемых очерках.

Россия рассматривается автором не с позиций взаимоотношений центра и регионов, а в контексте мировой истории. Одним из сюжетов является «собрание русских земель», которое вылилось в создание и расширение империи. «Но по сравнению с другими государствами, стремившимися к экспансии, у России была меньшая потребность искать выгоду от расширения [территории]. В случае с экспансией России речь идет о странах, которые в географическом отношении были с ней связаны. Экономические отношения новых

территорий с Россией, равно как и их социальное развитие, нельзя охарактеризовать только как колониальные» (с.7–8).

Как это часто встречается в книге, автор высказывает интригующую мысль, и останавливается, не развивая ее далее. Между тем, проблема специфики российского имперского пространства, как показало специальное заседание на XV Всемирном социологическом конгрессе, остается весьма актуальной.

Наиболее интересна разработка проблематики сфер влияния и интересов. У автора она связана с изложением истории взаимоотношений России, Германии, Франции и Англии в XIX веке: Крымская война, в которой активное участие принимала Финляндия (в составе России), а позже война с Турцией, договор в Сан-Стефано (1878 г.), а точнее, его пересмотр в том же году на Берлинском конгрессе по инициативе Бисмарка, привели к ослаблению позиций России в европейском политическом пространстве, и во многом завязали тот узел противоречивых отношений на Балканах, который до сих пор оказывает влияние на международную политику (с. 130–131).

Вопросы и ответы: взгляд на Россию современную

«Новая старая Россия» – в этом разделе книги больше вопросов, чем ответов. Прошло ли время мессианства? Прошло ли оно для России? Прошло ли оно для других стран и народов?

Стремление к благосостоянию и счастью, – утверждает автор, – не было характерным ни для России, ни для Советского Союза. Речь шла о достижении более крупных целей, причем в случае необходимости ценой лишений и страданий.

Что представляют собой сегодняшние россияне? Являются ли они «обыкновенной» нацией? Станет ли Россия рядовой по мировым меркам страной и великой в экономическом отношении державой в европейском масштабе? Станет ли она страной, которая желает добра своим гражданам, стремится содействовать установлению лучшего миропорядка? Эти вопросы – а именно на них и ждет ответа читатель, остаются открытыми.

По мнению М. Койвисто, «как и прежде, Россия напрягает до предела все ресурсы для осуществления своих целей, которые иногда имеют вселенские масштабы» (с. 227–228). И вновь вызывает сожаление тот факт, что сами эти цели не охарактеризованы автором! По его мнению, это – одна тенденция в политическом развитии современной России. Но здесь же отмечается и другая: «Уже есть признаки того, что возникает новое российское общество, которое гарантирует достойные условия для материальной и духовной жизни своих членов» (с. 230).

Для автора как социолога несомненно, что приватизация была центральным двигателем тех социальных изменений, которые произошли в России в постсоветское время. Для нас важно не столько описание фактической стороны дела, сколько оценка инициации этого процесса и его последствий, формулируемая видным политическим деятелем страны, дающей пример устойчивого, стабильного развития. Как же автор оценивает этот процесс?

«В России приватизация проводилась в различных формах, в том числе в виде *грабежа*, открытого присвоения государственной собственности. Были выпущены так называемые ваучеры, дающие право стать совладельцами предприятия. Поскольку ваучеры имели денежную стоимость, их начали обменивать на рубли. Тем, кто был в лучшем положении и более подготовленным, удалось купить эти ваучеры весьма дешево. Так делали многие руководители предприятий.

Затем был проделан грандиозный трюк. Поскольку у правительства не было денег, оно взяло большие займы у банков под залог природных богатств...

И когда государство оказалось не в состоянии вернуть банкам займы, то залогом, т.е. природные богатства, были выставлены на аукцион. Небольшому кругу, так называемым олигархам, удалось сколотить на этом огромные состояния» (с. 231). И далее: «Случилось так, что государственная собственность в основном попала в руки прежней партийной элиты,

поскольку у нее были лучшие позиции на момент начала дележа собственности государства» (с. 233).

Примечательно, что оценки приватизации, которые дают такие разные авторы, как М. Койвисто и Р. Медведев («Капитализм в России?», 1998) весьма схожи. И тот, и другой характеризуют этот процесс как *грабеж* государственной собственности.

Международные организации, содействовавшие проведению российских реформ, отмечает автор, не придавали значения тому, в чьих руках будет собственность. «Главное, что приватизация идет. Предполагалось, что со временем процесс приватизации станет более сбалансированным... Это время пока не наступило. Но тем не менее существует возможность того, что произойдет передел крупной собственности, будут рассмотрены вопросы, связанные с захватом собственности отдельными личностями» (с. 231).

И еще одно замечание, весьма существенное для понимания взгляда на Россию со стороны. Радикальные изменения «произошли на удивление мирно. Конечно, они вызвали большие страдания, вызвали у многих людей чувство безнадежности и привели к необоснованной идеализации прошлых времен. Но могло быть значительно хуже» (с. 232).

Эта мысль оказывается доминирующей. История могла разворачиваться по-разному. Тот или иной поворот определялся инициативой конкретных лиц, аккумулировавших в своих действиях интересы масштабных социальных сил, которые могли бы еще длительное время дремать, созреть, перезреть. Реально действующий политик – а об этом автор судит на основании собственного опыта – хотя и ограничен в своих возможностях, всегда имеет определенные рамки выбора. Он может поступить так или иначе. И от этого выбора многое зависит. Иными словами, автор делает упор не столько на объективной обусловленности процессов, сколько на выявлении значения волевого, сознательного начала, представленного действующим политическим корпусом. Это также свидетельство современного социологического мышления, для которого субъект действия и само социальное действие имеют значение доминирующих категорий.

Витте versus Столыпин

Из российских политических деятелей особое внимание и симпатию М. Койвисто привлекает фигура С. Витте (1849–1915). Описанию его деятельности посвящена отдельная глава. Вопреки господствующей тенденции в российской литературе автор сознательно противопоставляет его П. Столыпину, который заимствовал идеи ослабления и роспуска крестьянской общины у Витте, но в целом стоял на более консервативных и даже реакционных позициях в политике. В конце своей жизни «Столыпин стал все больше проявлять националистические и шовинистические тенденции. Он начал жесткую кампанию за ликвидацию автономии Финляндии...» (с. 167).

Восток или Запад

Один из главных вопросов, который обсуждается в книге, сводится к тому, принадлежит ли Россия Востоку или Западу. Поиски ответа – в рассмотрении всей тысячелетней истории нашей страны.

Решающая роль в повороте России на Запад принадлежит, по мнению М. Койвисто, Петру I, реформы которого детально описываются в соответствующем разделе (с. 61–68). Особое внимание, естественно, уделяется взаимоотношениям России и Швеции «Карл XII, – пишет автор, – совершенно неверно оценил растущую силу России... Ясно, что сила России во всех отношениях оказалась неожиданной. Карл XII в своей политике исходил из того, что Россия, Польша, Литва и Швеция имели одинаковое влияние» (с. 73). Вместе с тем подлинный поворот России к Западу автор связывает с деятельностью Екатерины Великой и Александра I.

О вхождении Финляндии в состав России

Вот как характеризуется действительно важная для финского национального самосознания проблема вхождения Финляндии в состав Российской империи. Одна из действующих в этом направлении сил – образование группой пророссийски настроенных финляндских дворян «Аньяльского Союза». Союз возник в Швеции во времена правления Густава III (1771–1792). Лидеры союза предлагали установить мир с Россией путем выхода Финляндии из шведского подданства и вхождения ее в состав российской империи. Густав III считал, что такого рода идеи являются мятежом. Глава Аньяльского союза граф Спрэнгпортен (1740–1819) вместе со своими сторонниками вынужден был бежать в Россию и поступить на службу к Екатерине II (эта история напоминает историю князя Курбского, бежавшего в Польшу во времена Ивана Грозного, и Мазепы во времена Петра I).

Спрэнгпортен стал генерал-губернатором Финляндии и создал первый проект конституции, которая при содействии Сперанского легла в основу статуса, полученного Финляндией в рамках Российской империи.

Другую силу, решившую вопрос о присоединении Финляндии, инициировала деятельность российского императора. По мнению автора, «завоевание Финляндии не входило в планы Александра, однако он сделал это вопреки своему желанию по просьбе Наполеона» (с. 80). Можно сказать, что выход Финляндии из состава Швеции был результатом перегруппировки сил на европейском континенте в период наполеоновского владычества и союза между Россией и Францией после Тильзитского мира.

Присоединение Финляндии к России датируется 1809-м годом. Вместе с тем в правовых документах, фиксирующих это событие (Фридрихсгамский мирный договор), само слово Финляндия еще не употребляется. «Впервые о финнах как "нации в числе других наций" сказал Александр I, когда участвовал в открытии сословного сейма в соборе города Борго (Плорвоо) в марте 1809 года» (с. 85).

Автор уделяет большое внимание проблеме статуса Финляндии как Великого княжества и тому, что российский император добавлял новые характеристики к своему официальному титулу. Он становился «царем всея Руси, царем Польским... Великим князем Финляндским и т. д.» (с. 85).

Александр I издал также специальный документ – «Заверение», в котором обещал, что Финляндия «сохранит свою религию, конституционные законы и сословные привилегии». Это обещание подтверждали все российские императоры, восходящие на трон, чему в Финляндии придавалось большое значение.

Во времена русского правления финны медленно, но верно укрепляли свое независимое положение. Интерпретация этого процесса в сознании правящих кругов Финляндии выражалась формулой: «Финляндия не принадлежит России, обе страны лишь имеют общего правителя» (с. 86).

Как отмечает автор, на протяжении XIX в. в Финляндии формировались общероссийские патриотические настроения. Подразделения финских войск активно участвовали в Крымской войне. В Финляндии эта война получила название Аланской. Дело в том, что ее ходе объединенный британско-французский флот пришел в Балтийское море, высадился на Аланских островах и начал бомбардировку приграничных финских городов. В Финляндии, – сообщает автор, – до сих пор остаются популярными песни, связанные с событиями Крымской войны и последующей войны с Турцией.

Права финнов и русских, подчеркивает Койвисто, на территории самой Финляндии не были сбалансированы. Финны пользовались более широкими правами в России, чем русские в Финляндии. Пользу из этого извлекли и финны как нация в целом, и отдельные личности. «Многие финны сделали в России удачную карьеру и преуспели в предпринимательской деятельности» (с. 87).

Особый статус Финляндии в составе Российской империи связывается автором с целым рядом исторических эпизодов, имевших определенные последствия. Так, в 1811 г. к Великому Княжеству Финляндскому была присоединена так называемая старая Финляндия – восточные территории Швеции, завоеванные (или отвоеванные) еще Петром Великим. Благодаря этому границы автономной Финляндии вплотную приблизились к Санкт-Петербургу, что возымело серьезные последствия 130 лет спустя.

Интересно, что эта новая граница была и таможенной границей, управление которой относилось к компетенции Великого Княжества Финляндии. Финны, отмечает М. Койвисто, не раз использовали свое особое положение легкомысленно и вызывающе, раздражая тем самым российские власти (с. 88). Русские революционеры часто находили убежище на территории Финляндии, где российская полиция не имела такой же свободы, как на остальной территории империи. В 1905 г. финская полиция даже задержала агентов русской охраны во время проведения первой конференции РСДРП в Таммерфорсе.

И еще одно наблюдение: «после провозглашения Финляндией своей независимости (1918 г.) наличие границы на Карельском перешейке превратилось в проблему. Белоэмигранты не хотели признавать независимость Финляндии даже после того, как они утратили надежду вернуть власть в России. Весьма вероятно, что в случае победы белых в России даже автономия Финляндии не была бы признана, она была бы ликвидирована полностью или частично» (с. 89).

Здесь мысль политика также остается незавершенной. Она может быть истолкована и как косвенное признание правоты Советской власти, которая быстро и однозначно решила вопрос о независимости Финляндии. Жаль, что драматические моменты в истории самой Финляндии (и в истории советско-финских отношений) не рассматриваются в этой работе. А сложность исторических переплетений можно было бы проиллюстрировать и на примере того, как один из высоких чинов российского Генерального штаба (генерал Маннергейм) стал Президентом Финляндии в самые сложные годы ее существования.

Конечно, характеризуя события российской истории после Первой мировой войны, автор вправе использовать формулу «Россия встала на внеисторический путь развития» (с. 9). Но чем отличается исторический путь от внеисторического, – вот в чем вопрос!

Мне представляется, что рассуждение автора по поводу «ошибок в политике» (с. 228) более корректно. Пройденный путь, каков бы он ни был, составляет вклад этой страны в историю и культуру (позитивный и негативный). Этот путь может нести страдания, но его уже нельзя изменить.

Социальное пространство и проблема границ

В социологической теории есть понятие социального пространства, в политике существует понятие границ, обрамляющих пространства географические. Обратимся в связи с этими понятиями к окончанию книги, которую автор завершает анекдотом. «Рассказывают (в культурном пространстве распространена информация – в скобках мой текст. –А.З.), что когда в начале 60-х гг. я был с визитом в Москве, то будто бы предложил своему тогдашнему коллеге премьер-министру Косыгину (одному из политиков, реализующих внеисторический путь России!) передвинуть нашу восточную границу (автор не уточняет направление передвижения!).

На это Косыгин будто бы ответил: зачем передвигать, давайте уберем ее совсем. (Как это расценить? Как имперскую шутку на внеисторическом пути или стремление ускорить конструирование социального пространства без границ?). Если верить анекдоту, – продолжает автор, – то я сказал, что возникает вопрос, ответить на который может только президент Финляндии Урхо Кекконен (1956–1982) (признание иерархичности социального пространства), и поэтому я должен связаться с Хельсинки. Боюсь, однако, что Кекконен не захотел бы возглавить такое большое государство!» (СССР в это время возглавлялся Н. Хрущевым).

«У нас есть разного рода говоруны, – завершает свою книгу автор, – которые хлопчут о различных делах. Но время от времени нужно констатировать, что с Россией у нас нет спорных вопросов, касающихся границ, и мы не желаем их поднимать». (Анекдот окончен и сделано серьезное политическое заявление) (с. 239).

В заключение еще об одной особенности книги. В ней немало таких историй и анекдотов, которые насыщают историю живой жизнью, из которых видны характеры людей, внесших существенный вклад в создание облика России – в его политическом и культурном ракурсах. Поэтому прочесть ее россиянину полезно и занимательно.

Филиппов А.Ф.*

Willfried Geßner und Rüdiger Kramme (Hrsg.), Aspekte der Geldkultur/ Neue Beiträge zu Georg Simmels "Philosophie des Geldes". Magdeburg: Edition Humboldt, Scriptum Verlag, 2002. - 152 S.

Аспекты денежной культуры. Новые работы по «Философии денег» Георга Зиммеля / Под ред. Вильфрида Геснера и Рюдигера Крамме. Магдебург: Эдицъон Гумбольдт, 2002.

«Философия денег», вышедшая первым изданием в 1900 г., – одна из немногих книг Зиммеля, которая, при довольно значительном объеме, от начала до конца представляет собой формальное и содержательное единство, со сквозной теоретической интригой и последовательно проведенной и развитой через все сочинение аргументацией. Возможно, именно поэтому ее судьба как-то не особенно задалась, хотя ее часто переиздают и много на нее ссылаются. Внимательнее присмотревшись к этим ссылкам, мы обнаружим, что ее изучение не только начинается, как об этом пишет в своей статье один из составителей рецензируемого сборника В. Геснер (S. 13), со знаменитой шестой главы («Деньги и стиль жизни»), но и часто и ограничивается ею. Конечно, влияние «Философии денег» на таких авторов, как М. Вебер, Г. Лукач, Э. Блох, В. Беньямин, Т. Адорно и даже М. Хайдеггер, неоспоримо. Но вряд ли можно утверждать, что она хорошо читалась *в свое* и тем более – в последнее время широкими кругами философов и других ученых. Привычные, начиная с конца 50-х годов прошлого века, ламентации о несправедливо скором забвении Зиммеля, не в последнюю очередь относятся именно к «Философии денег». Ситуация отчасти выправляется в последние десятилетия, но специальных публикаций об этом труде удивительно мало, так что почти все они привлекают к себе внимание. Заслуживает его и рецензируемый сборник, подготовленный к столетию первого издания «Философии денег» (предисловие редакторов датировано декабрём 2000 г.), но вышедший несколько позже, уже вслед юбилею. Сборник составлен, отредактирован и частично переведен с английского (среди авторов есть как немецкие, так и американские исследователи) Рюдигером Крамме, одним из участников издания полного собрания сочинений Зиммеля, крупным специалистом по истории немецкой философии и социологии первой трети XX в., и Вилфридом Геснером, много работающим в последние годы над философией и социологией культуры Зиммеля и Кассирера.

Авторы сборника стремятся показать современную актуальность книги Зиммеля, но это невозможно вне исторического контекста, а значит, и безотносительно к истории ее рецепции. Многие привычные утверждения и оценки кажутся авторам, мягко говоря, не совсем правильными. Вырисовывается, в общем, грустная картина: «Философию денег» сначала не поняли, потом забыли, потом снова поняли не так, как надо. В статье «Деньги как парадигма современной философии культуры» В. Геснер, как мы уже упомянули, утверждает, что внимание читателей часто *смещено* к главе шестой, а это значит, что труд Зиммеля воспринимают как работу по *критике культуры*, тогда как она представляет собой

* Филиппов Александр Фридрихович, кандидат философских наук, ведущий научный сотрудник, руководитель Центра фундаментальной социологии.

© Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Филиппов А.Ф., 2002г.

развернутую *философию культуры*. Дело, конечно, не в том, что Зиммель «на самом деле» не критикует современную культуру (об этом ниже). Дело в том, что он этим не ограничивается и ставит вопрос более принципиально. Это вопрос о «возможности культуры» как таковой. Здесь автор делает несколько неожиданный ход. Доказывая, что культура имеет по сути своей символическую и функциональную природу, он ссылается на «Философию символических форм» Э. Кассирера. Это вполне оправданно в контексте нынешнего вновь пробудившегося интереса к Кассиреру, однако производит все-таки несколько странное впечатление: «Философия символических форм» вышла в свет через двадцать лет после «Философии денег». К тому же, как указывает автор, Кассирер среди исследуемых им форм не назвал деньги, к которым как раз обратился Зиммель, который, в свою очередь... Что? Был менее успешен со своей концепцией культуры, чем Кассирер? Не дал столь отчетливого описания культуры как плюриверсума символических форм? Как бы там ни было, риторически и композиционно этот шаг вряд ли удачен. Однако внятное и точное изложение того, как из индивидуальных взаимодействий рождается надындивидуальное образование, как оно противостоит человеку с его индивидуальной смысловой жизнью, и того, как деньги, замкнутая на самое себя символическая система, являются здесь архетипом объективированной и противостоящей человеку культуры – безусловно, удалось автору. Удалось ему и показать существенную слабость аргументации Зиммеля. Она коренится как раз в том, что принято считать одним из самых значительных результатов «Философии денег», а именно: в критике современной культуры. Дело в том, что Зиммель, говорит Геснер, при описании индивидуальной культуры взял за образец идеал образования, каким его видел XVIII и начинающийся XIX век. С точки зрения его функционалистской концепции культуры, развитие культурных форм могло бы требовать от индивида умения обходиться с ними, освоения их множественности и сложности, но отнюдь не должно было трактоваться как *трагедия*. Трагедия культуры, по Зиммелю, возникает из-за того, что это не просто мир значений, но нечто, *пропущенное через душу*, нечто взывающее к нашему внутреннему миру, *культивирующее и окультуривающее* нас. Но именно такое воззрение Геснер и считает исторически ограниченным и в теоретически обобщенном виде неправомерным. Здесь можно было бы указать на то, что это, в общем, характерное для Зиммеля противоречие. Вряд ли стоит инкриминировать ему простую непоследовательность. Ведь, например, позднейшие (по сравнению с «Философией денег») работы об индивидуализме ясно показывают: Зиммель видит проблему. Но именно как философ не хочет сдаваться социологии, переводя проблему индивидуализма и индивидуальности в чисто количественный план, как это он с легкой душой делал на заре своего творчества в «Социальной дифференциации». Это напряжение, быть может, уже чуждо в ту эпоху, когда, как утверждает автор следующей статьи американская исследовательница Элизабет Гудстин (Goodstein), «тот факт, что "культура" уже не означает элементов и практики классического "образования", говорит сам за себя» (S. 37).

Большая статья Гудстин называется «Феноменология культуры Георга Зиммеля и смена парадигм в науках о духе». Подобно Геснеру, автор также исходит из того, что весьма существенные аспекты творчества Зиммеля до сих пор понимаются неправильно, в частности, потому, что его, с одной стороны «загнали в социологию», а с другой, – объявили его метод «сугубо эстетической установкой» (S. 30). Со своей стороны, она связывает пробуждение интереса к Зиммелю с поворотом гуманитарного дискурса от «великих теоретических дебатов» к «конкретным темам», к попыткам разработать междисциплинарные модели, «соединяющие символическое и эмпирическое измерения культурных практик» (S. 33). Гудстин усматривает в методе Зиммеля риторическую фигуру *синекдохи*: он обращается к особенному, но в этом особенном открывается общее. Его сочинения – это своеобразная *феноменология культуры*. «Зиммелевская феноменология культуры – это модернистская попытка уловить фасетчатую, мультикаузальную сущность действительности. Чтобы анализировать мир, где господствует взаимодействие, он строит

синекдоху на синекдохе» (S. 55). Так, по Зиммелю, «сущность нового времени – точные вычисления». Эта сущность выражает интеллектуализм денежной культуры, акцентирование точности и аккуратности, склонность предпочитать количественные суждения качественным. Но Зиммель отказывается от широко распространенного в его время редукционизма. Современный рационализм вытесняет импульсы к спонтанной эмоциональной жизни, и создает новые формы индивидуализма. Однако парадоксальным образом именно это и переживается современным субъектом как состояние отчуждения. Это понимание перешло от Зиммеля к Лукачу, а от него – к Франкфуртской школе. Зиммель, таким образом, существенно повлиял на всю современную не только философию культуры, но и науку о культуре.

В статье «Метафизика денег. "Философия денег" как философия» Гайя Оукса (Oakes), одного из самых известных американских исследователей немецкой философии и социологии начала XX в., мы находим то же самое стремление скорректировать привычный взгляд на Зиммеля. Есть известное рассуждение Фридриха Тенбрука (Tenbruck), относящееся к 1958 г., о том, что подлинная социология Зиммеля находится не в большой «Социологии», а в «Философии денег». Это рассуждение знакомо и нашему читателю по книге Л. Г. Ионина «Георг Зиммель – социолог». Оукс решительно спорит с таким подходом. Он полагает, что к 1900 г. Зиммель уже вполне определился с тем, что именно он называет социологией, а что – философией или психологией. Но и другое рассуждение, авторство которого менее определено, Оукс считает необходимым подвергнуть критике. Из-за того влияния, какое «Философия денег» оказала на теоретиков современного общества и современной культуры, ее принято считать классическим трудом в области постижения европейского модерна. Оукс доказывает, что и это неправильно. Ни история денег, ни современное состояние западной денежной культуры не были главной целью зиммелевского труда. В «Философии денег» Зиммель отчетливо заявляет, что необходимо различать эмпирические науки, которые не заботятся об исследовании своих собственных предпосылок; теорию познания, которая как раз и выясняет методологические основы и условия конституирования предмета эмпирической науки, и, наконец, метафизику как учение о картине мира или воззрении на мир («мировоззрении», как обычно, не задумываясь, передаем мы простой русской калькой непере译имое и не переводящееся на другие языки, подобно «Verstehen» и «Gemeinschaft», немецкое «Weltanschauung»). Соответственно, эмпирической науке нет места в «Философии денег», она членится на две части: аналитическую, в которой трактуются методологические, психологические, логические, аксиологические, социальные вопросы имманентной важности и практической значимости денег, и синтетическую, в которой трактуется вопрос об импликациях денежного хозяйства для современной культуры. Правда, сам Зиммель, оговаривается Оукс в большом примечании (S. 64, Fn 4) не строго соблюдает различие аналитического и синтетического в «Философии денег», а в ряде случаев он и здесь (подобно тому, как это было в его более ранних работах) приближается к точке зрения позитивизма, согласно которой философия иногда вынуждена договаривать за науку, еще не сказавшую своего слова в ряде важных вопросов. Рано или поздно все философские высказывания такого рода будут замещены точными научными суждениями. Это примечание Оукса, как мы сейчас увидим, очень важно для правильного понимания его статьи.

Зафиксировав, таким образом, сугубо философский характер «Философии денег», Оукс переходит к вопросу о том, что такое для Зиммеля философия. Он обращается к его большой работе «О сущности философии», собственно, первой главе книги «Основные проблемы философии» (1910 г.). Здесь Зиммель объявляет, что философия – это личная интеллектуальная установка (Haltung) по отношению к миру; она изучает не какой-то определенный предмет, но связи между вещами, чтобы прийти к полной картине их целокупности (тотальности), т.е. к картине мира; она, в отличие от наук, не может быть ни подтверждена фактами, ни опровергнута ими, достоинство философии определяется другим: ее ясностью, глубиной и аутентичностью выражения духовной установки философа;

поэтому, в отличие от наук, конфликты между философиями не могут быть решены на почве обращения к фактам, речь может идти лишь о решении в пользу того или иного воззрения на мир.

Эту философскую позицию Зиммеля Оукс подвергает критике с точки зрения лингвистической философии. В духе «Философских исследований» Витгенштейна, он задает обычные в таких случаях вопросы о том, может ли быть выражена духовная установка как-то иначе, нежели в языке, и если она выражается в языке и это и есть философия, то, как можно измерить аутентичность выражения того, что существует, только будучи выражено. «Без критериев различения мысли и языка предпосылка об установках, которые независимы от языка является непоследовательной. А на основе этой предпосылки невозможно установить отношение между «Философией денег» и субъективностью Зиммеля, а значит, невозможно также установить и то, в каком смысле эта книга является его философией денег» (S. 72), т.е. насколько аутентично она выражает его субъективную установку, то единственно ценное, что есть, по Зиммелю, в любой философии. Следовательно, нельзя установить и то, насколько более ценна «Философия денег», чем другие работы, в которых идет речь о современном денежном хозяйстве и культуре, будь то, скажем, работы Маркса, Бальзака или Веблена. А раз нет критерия истинности как соответствия действительности и философия, стало быть, не истинна, то суждения, содержащиеся в «Философии денег», либо ложны, либо не истинны и не ложны. Если ложны, то «Философия денег» – ложное представление субъективности Зиммеля. Если они не истинны и не ложны, тогда это – «эпистемически пустое изображение его установки» (S. 74).

Легко увидеть, однако, что жесткая критика Оукса (кстати сказать, несколько лет назад он так же, опираясь на традиции аналитического философствования, атаковал философию Риккерта и, в частности, его знаменитое различие между отнесением к ценности и оценкой¹) ущербна, по крайней мере, в одном отношении. У Оукса получается, что «Философия денег» – это только философия, и с точки зрения метафилософии Зиммеля, проясненной при помощи Витгенштейна, ее философское значение, а значит, ее значение вообще ничтожно. Но насколько допустимо опрокидывать на труд, задуманный еще в 1898 г., метафилософскую методологию, окончательно сформулированную в 1910 г.? Если мы доказали (*если* мы доказали), что Зиммель, с современной, далеко не общепризнанной, точки зрения слаб в эпистемологии, то при чем тут «Философия денег»? Точнее говоря, *именно потому*, что Зиммель слаб в эпистемологии, он и не смог выдержать до конца ту позицию (если только допустить, что к 1900 г. она была именно такой), которая оказалась столь мало продуктивной для его труда. Если мы признаем, что он не выдерживает различия между аналитической и синтетической частями, то не значит ли это, что и в синтетической (мировоззренческой) части присутствует рефлексия о возможности предмета наук? И, значит, если не для позитивистски понимаемой социологии, то, уж точно, для метасоциологии «Философия денег» остается важным источником. А если допустить, что его декларации не совпадают с реализацией намерения, то почему бы не предположить, что позитивные результаты также не столь редки в «Философии денег»? Или что Зиммель, быть может, недостаточно точно отрефлектировал жанр и характер собственной книги – что не такая уж редкость в истории мысли. Конечно, все это не искупает главного порока Зиммеля в интерпретации Оукса – отсутствия подлинной философской школы, каковой может быть только аналитическая философия. Извинить это случайными обстоятельствами жизни (Зиммель умер до возникновения оной) невозможно. Но возможно другое: в «Философских исследованиях» Витгенштейна мы находим известное рассуждение о языковых играх. Если принять во внимание, что Зиммель участвовал в языковой игре своего круга, эпохи,

¹ См.: Oakes G. Rickerts Wert/Wertung-Dichotomie und die Grenzen von Weber Wertbeziehungslehre // Max Webers Wissenschaftslehre. Interpretation und Kritik / Hrsgg. V. Wagner G., Zipprrian H. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1994. S. 146–166.

культуры, то не окажется ли тогда, что выражение «философия есть ясное и аутентичное представление духовной установки философа» столь же хорошо понятно участнику и столь же загадочно для постороннего, не знающего практических правил игры, как непонятно для человека, никогда не видевшего гор, выражение «это – Монблан». А поскольку Оукса, одного из лучших знатоков немецкой мысли, участника издания полного собрания сочинений Зиммеля, нельзя заподозрить в неведении относительно сути и характера этого культурного круга игр, то его решительная критика Зиммеля (как и Риккерта) еще надолго, надо думать, останется неразрешимой загадкой истории философии.

Любопытную статью представил в рецензируемом сборнике Эрвин Шуллерус (Schullerus). Она основана на архивных материалах, что в отношении Зиммеля, основной архив которого не сохранился, вообще большая редкость и (прямо по Зиммелю) большая ценность. Статья посвящена длившейся около двадцати лет переписке между Зиммелем и Густавом Шмоллером. Известно, в общем, позитивное, благожелательное отношение Шмоллера к Зиммелю. Однако в статье вскрываются многие любопытные аспекты этого отношения. В частности, интересно и немного грустно читать, как Шмоллер, действительно высоко ценивший Зиммеля и настроенный отнюдь не антисемитски, постоянно усматривал в его трудах признаки «специфически еврейского остроумия». Немецкое слово «geistreich» (буквально: «духовно богатый») трудно точно передать по-русски. Речь идет о блестящем, искрящемся типе мышления и изложения. Но здесь же коренится и опасность. И благожелательный Шмоллер и, увы, многие недоброжелатели Зиммеля видели в его работах «разрушительное», «разлагающее», «негативное» начало, что стояло в прямой связи с этим самым «остроумием». Многократно описанная история о том, как было провалено приглашение Зиммеля на должность профессора в Гейдельберг, какие силы немецкого чиновничества этому противодействовали, как *тактически* неправильно повели себя знаменитые профессора и как, в конце концов, тоже с немалым трудом удалось назначение в Страсбург, приобретает в связи с перепиской Шмоллера и Зиммеля, новые оттенки. Тем не менее, эта в высшей степени любопытная и добротная статья смотрится немного странно на фоне теоретических работ.

Напротив, статья Хайо Ризе (Riese) «Философ культуры как экономист» представляет большой теоретический интерес. Как известно, Зиммель в самом начале «Философии денег» заявляет, что в его книге нет ни одной строчки, написанной в духе «национальной экономии». Стоит ли верить ему на слово? Разобраться в этом с точки зрения экономиста и пытается автор статьи². Основная идея Ризе состоит в том, что в «Философии денег» аналитическая и синтетическая части представляют два принципиально различных воззрения на деньги и денежное хозяйство. Если в аналитической части Зиммель исходит из ситуации обмена и роли денег как средства обмена, то в синтетической он исследует их как средство заключения контрактов, возложения обязательств и распоряжения собственностью. Как полагает Ризе, тем самым Зиммель порывает с длительной традицией либеральной мысли, с которой связан и ее решительный критик Карл Маркс. Привязывая индивидуализацию и характеристики общества к денежному контракту, Зиммель оказывается более современным мыслителем, чем, например, Макс Вебер, так и не сказавший, по мнению автора, ничего существенного о «денежном режиме» современного общества. Зиммель показывает, что индивидуальная свобода стала возможна в современном обществе только благодаря тому, что натуральные повинности были заменены денежными. Тем самым он уходит от парадигмы обмена, в которой пребывает не только вся либеральная, но и вся антилиберальная социалистическая мысль. Зиммель – не критик и не апологет буржуазного общества. Он выше критики и апологетики. Он исследует возможности функционирования

² Подобно тому, как несколько лет назад это сделал Пашен фон Флотов, подход которого Ризе отмечает, однако подвергает критике. См.: Flotov P. v. Geld, Wirtschaft und Gesellschaft. Georg Simmel Philosophie des Geldes. Frankfurt a.M.: Suhrkamp, 1995. В этом же коротком ряду и критикуемая Ризе статья: Aglietta M. Die Ambivalenz des Geldes // Georg Simmel Philosophie des Geldes / Hrsgg. V. Kintzele J., Schneider P. Frankfurt a. M.: Hain, 1993

денежного хозяйства, реальную силу денег. И тем самым открывает возможности нового осмысления самых современных тенденций. Пожалуй, эти утверждения заслуживали более подробного развития. Можно только надеяться, что эта статья станет началом оживленной дискуссии по действительно острому и актуальному вопросу.

К сожалению, недостаток места не позволяет нам сколько-нибудь подробно остановиться на последних двух статьях сборника. Герхард Гамм (Gamm) написал статью «Неопределенность денег. Диагноз времени у Георга Зиммеля в духе гегелевской диалектики». Хайко Рёль (Roehl) и Буркхард Йериш (Järisch) – статью «Ego Stoxx. Будущее экономизированного индивида». Первая представляет значительный интерес тем, что посвящена еще недостаточно изученной теме: месту Зиммеля в немецкой традиции классического философствования. Мы читаем его лекции о Канте, статьи о Ницше, Шопенгауэре и Гете, но редко задумываемся над тем, что Зиммель совершает значительную часть своей философской эволюции в тот период, который некогда В. Виндельбанд точно и провидчески определил как время повторения пути немецкой классики. И за неокантианством действительно последовал и новый интерес к Фихте, и возрождение гегельянства. Рассмотреть «Философию денег» именно в таком контексте было, конечно, очень важно. Вторая статья явно носит следы современного увлечения анализом социальных сетей. Зиммель здесь – один из наиболее любопытных авторов, ибо его понятие взаимодействия прекрасно увязывается с сетевым подходом, а появление таких видов сетей, как Интернет, только добавляет актуальности. И, конечно, важно иметь в виду, что такие сети можно рассматривать как своеобразные рынки, где внутренние качества индивида менее важны, чем способность «себя продать» (Ego Stoxx – это почти омоним Euro Stoxx, одного из индексов фондового рынка, только здесь в цене поднимаются и падают «акции индивида»).

Книга получилась интересная и спорная. В особенности подкупает то, что большинство имен авторов, в общем, не на слуху у зарубежного читателя. Это значит, что нам представлены новые, оригинальные точки зрения, с которыми многим вряд ли удалось познакомиться прежде, по другим их публикациям. Таким образом, круг релевантных авторов и расширяется и, как не преминул бы заметить Зиммель, дифференцируется. На вопрос, как в таком случае возможно сохранение социальной группы, он, скорей всего, ответил бы: верностью. Верностью автору, кругу его тем, важным для него – и, как выясняется, для нас – проблемам.

Правда, такой ответ не совсем в духе «Философии денег».

РАЗМЫШЛЕНИЯ НАД КНИГОЙ

*Ашкеров А. Ю.**

МОРАЛЬ, РАЗУМ, ГЛОБАЛИЗАЦИЯ

(О некоторых аспектах социально-политической теории Юргена Хабермаса)

Хабермас Ю. Вовлечение Другого. Очерки политической теории. – СПб.: Наука, 2001. – 418 с.

По крайней мере со времен написания Карлом Марксом своей работы «Восемнадцатое брюмера Луи Бонапарта» мы знаем, что история имеет обыкновение вначале свершаться как трагедия, а затем повторяться в виде фарса.

Фарс не только является карикатурным отображением поступательности истории, ход которой еще в эпоху Возрождения был приравнен к движению по спирали (об этой карикатурности писал в свое время Р. Барт), но и выступает секуляризированным действием, спектаклем, связанным с выставлением напоказ таинства воскрешения или реинкарнации. Принимать участие в этом «расколдованном» и в тоже время «расколдовывающем» действе, то есть попросту воскрешаться или реинкарнироваться могут любые исторические фигуры, подвижными декорациями в этом действе способны стать самые разные социокультурные явления.

В фарс превращаются события, символизирующие преемственность с прошлым, в фарс превращаются начинания, свидетельствующие о каком-либо очередном «втором пришествии», в фарс превращается все то наспех разворошенное «хорошо забытое старое», что призвано выдать себя за нечто совсем новое. Фарсом становятся и поступки самих исторических деятелей, которые затевают игру в самоотжествление себя с каким-либо именитым предшественником и принимают рядиться во что-нибудь очень театральное: в тогу бесстрашного героя, в рубище пророка или мессии, в мундир мудрого и победоносного властителя. То же самое превращение приключается и с мыслителями, которые осознают себя продолжателями чьего-нибудь недовершенного теоретического проекта, воспринимая себя как современных наследников философской или научной классики.

1

Сказанное выше в полной мере относится к таким немецким авторам, как Юрген Хабермас и Карл-Отто Апфель, общий профиль которых недвусмысленно свидетельствует о двойственности (если не буквальной двуликости) фигуры Иммануила Канта, вновь с особой настойчивостью выводимой на сцену политико-интеллектуальной истории Современности. Действующие и мыслящие как запоздалые душеприказчики кенигсбергского затворника, Апфель и Хабермас в исторический период, который характеризуется странным замиранием на полпути между еще не закончившимся «постмодерном» и едва вступившей в силу «глобализацией», вместе олицетворяют собой воскрешенного, реинкарнированного Канта, в

* Ашкеров Андрей Юрьевич, кандидат философских наук, преподаватель философского факультета МГУ, научный сотрудник Института философии РАН.

© Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Ашкеров А.Ю., 2002г.

одновременно ставшего в наше время двуликим Янусом господствующей морали двойных стандартов.

Нет ничего более серьезного в современной политической теории и нравственной философии, в современных рассуждениях о целях и прерогативах практического разума, нежели подобная заведомо не осознанная театральность, неуловимо сопровождающая творчество двух упомянутых мыслителей, не отдающих себе отчета в том, насколько обречены на фарсовость их сложные и продуманные теоретические стратегии, согласованное восприятие которых не оставляет шанса отделаться от ощущения соприкосновения с неким «коллективным Кантом» смутных времен Пост-Просвещения.

«Театр» практического разума, занимающий помещение Общеввропейского Дома, до сих пор не может не ассоциироваться с именем творца проекта «Вечного мира» теми, кто, превращая его в имя собственное, работает на то, чтобы оно обратилось в имя нарицательное: в категорический императив имени или, что тоже самое, в имя категорического императива. Этот «театр» оказывается театром наоборот – в нем равным счетом ничего не изображается, не разыгрывается, кроме самой реальности морально-политических представлений, абстрактность которых реальней любых других составляющих реального мира.

В нашу задачу входит рассмотрение относительно новой книги одного из участников этого своеобразного тандема – Юргена Хабермаса (немецкое издание данной работы увидело свет в Германии в 1996 г., русское – в 2001 г.). Книга Хабермаса была написана в жанре политической философии и посвящена сакрально-сакраментальной проблеме Иного. Иное вновь оказалось в фокусе внимания, – теперь уже в тексте самого последовательного после Канта провозвестника перестройки и нового мышления из ФРГ, – вновь сделалось предметом концептуального спора, разворачивающегося вокруг какой-то слишком уж семантизированной, явно перенасыщенной значениями «данности» диалога национальных и социальных культур. Памятуя о том, что лозунг гласности, под эгидой которого произошли столь значительные изменения в СССР и странах социалистического лагеря (повлекшие за собой их вначале «метафизическое», а затем и физическое исчезновение), кажется спустя годы лишь кратким адаптированным переложением хабермасовской концепции публичной сферы, нам хотелось бы предварить рассмотрение нового произведения немецкого социолога и философа обращением к описанию его творческой и политической эволюции.

Сразу отметим, что для интеллектуальной биографии Хабермаса характерна особая закономерность – закономерность перехода от политической левизны к очень умеренному либеральному консерватизму, от роли идеолога антиглобализма к роли идеолога глобализационных процессов и институций.

В 1960-е гг. Хабермас, подобно другим теоретикам Франкфуртской школы, выступает популяризатором идей раннего Маркса и концептуальным лидером новых левых радикалов. Однако уже в конце этого десятилетия в его отношениях с левыми наступает охлаждение, закончившееся впоследствии разрывом. (Как потом выяснится, этот поступок вовсе не был связан с предательством и лишь предвосхитил наступившее в не столь уж отдаленном будущем угасание их собственной воинственной бескомпромиссности.) Уже в это десятилетие к Хабермасу приходит мировая известность.

В 1970-е гг. он проявляет себя как твердый приверженец левого либерализма, критик не оправдавшей себя научно-технической рациональности, сторонник экологического подхода к определению баланса утрат и приобретений прогресса, ассоциирующегося с развитием науки и техники. На излете десятилетия Хабермас удостоивается премии Теодора Адорно, при получении которой произносит знаменитую речь о незавершенности проекта модерна.

С приходом 1980-х гг. немецкий философ и социолог заканчивает обширную работу «Теория коммуникативного действия», где рассматривает социальные отношения через призму процессов коммуникации и выявляет фундаментальную взаимосвязь между

интерсубъективностью и рациональностью; параллельно с упомянутыми сюжетами в тексте этого двухтомника подробно разрабатывается теория общественной модернизации. С началом преобразований в Советском Союзе Хабермас предсказывает конвергенцию капиталистической и социалистической систем, которая, как им тогда предполагается, должна проходить под знаком возрастания влияния общественности и связанных с ней процедур коллективного обсуждения и принятия решений.

После наступления 1990-х гг. автор теории коммуникативной рациональности более настойчиво обращается к соединению социально-политической и моральной теории, он вдохновлен поиском универсалий, содержащихся в принципах республиканизма, и занят исследованием возможностей предотвращения этнических и культурных конфликтов.

Уже само название рецензируемого хабермасовского произведения, – а на обложку книги вынесено словосочетание «вовлечение другого», – представляется нам чрезвычайно симптоматичным. Для творца теории коммуникативной рациональности создание этой работы кажется жестом подведения итогов.

Подобный выбор обусловлен вовсе не жизненными обстоятельствами ученого, который после смерти своего давнего оппонента, теоретика социальных систем Н. Лумана и патриарха философской герменевтики Г.-Г. Гадамера оказался наиболее известным немецким интеллектуалом старшего поколения. Нет, данный выбор сопряжен прежде всего с жанровым своеобразием либерально-консервативных утопий, которые пишутся в манере завещания, оставляемого поколениям будущих восприимчивых, столь же абстрактным и анонимным, как и описывающиеся в этих утопиях участники межкультурного диалога.

Все-общность моральным норм, к которым призывают либералы и консерваторы, следующие моралистической логике Юргена Хабермаса, утверждается в рамках обоснования утопических притязаний вполне конкретной исторической общности, чей пространственно-временной экспансионизм распространяется настолько далеко, что именно эта общность кажется воплощением *Всего* – социальной вселенной, не ведающей ни о чем внешнем, ни о чем трансцендентном и обращающейся с «Другим» как со своей собственностью.

Возвращаясь к теме фарса, нельзя не отметить, что спектакль воскрешения или реинкарнации разыгрывается как продолжение десакрализации трансцендентности. По мере того, как последняя лишается статуса абсолюта, «Другой» – будь то избираемый для подражания предшественник или, наоборот, нуждающийся в подражании цивилизованному человеку варвар – приобретает фарсовые черты, становится пародией на самого себя. Иными словами, то, что отличает этого «Другого» от «Такого же» – всего лишь карикатурность, которая присутствует повсеместно, но не принимается, не допускается, не осознается в себе и в себе подобных.

Очевидная серьезность книги Хабермаса, не случайно названной «Вовлечение Другого», – не в последнюю очередь лишь попытка скрыть за безличностью обращения к себе в третьем лице практику господства евроцентризма, для которой Другой выступает не более чем приватизированным достоянием и которая никогда не осуществляется от первого лица, чтобы не выглядеть курьезной. Более того, именно безличность третьего лица является формой структурирования экономической власти Запада, детерминации которой неотличимы от детерминаций морали категорического императива, соотношенной с долгом и долгами, ручательствами и векселями, обязанностями и обязательствами.

Книга Хабермаса состоит из пяти глав, любая из которых представляется вполне законченным фрагментом, посвященным осуществлению одной из пяти достаточно автономных целей: (1) доказательству разумности власти должностования, (2) полемике с положениями теории справедливости Джона Роулса, (3) продумыванию конституционно-правового оформления процессов европейской интеграции, (4) раскрытию кантовской идеи «вечного мира» и современного видения проблемы прав человека, (5) обсуждению принципов «делиберативной политики». Первые два фрагмента наиболее интересны именно с точки зрения социальной теории и заслуживают, на наш взгляд, отдельного обсуждения,

последние три – носят скорее политологический характер и будут рассмотрены нами в одном блоке.

2

Долг адресован всем и каждому, то есть неограниченному сообществу людей, связанных друг с другом лишь процедурами словесного обмена, *обмена мнениями*. Поскольку в арсенале способностей человеческих существ не существует ничего более универсального, нежели способность к разумному высказыванию, не существует и более универсалистской трактовки человеческого общества, нежели трактовка, в рамках которой поверх культурных, этнических, религиозных, поколенных различий утверждается особое единство, достигаемое на началах разумно осуществляемой коммуникации.

Однако Хабермас не идет по пути Аристотеля и не останавливается на объявлении человека «социальным», то есть в данном случае коммуницирующим, общающимся животным. Нравственная рефлексия у Стагирита целиком сосредоточена на теме блага и связанной с ней темой «благой жизни».

Античному подходу к рассмотрению нравственности немецкий философ и социолог предпочитает христианский подход, обращенный не к этосу, а к морали, сопряженный не с заботой о себе, а с заботой о других, олицетворяемый не добродетелями, а императивами. Моральный универсализм, завораживающий Хабермаса, составлен в соответствии с той же формулой, в соответствии с которой был составлен и христианский универсализм двухтысячелетней давности (чтобы убедиться в этом достаточно оценить с какой настойчивостью Хабермасом утверждается необходимость пренебрежения этнорелигиозными границами – трудно не услышать в этом отголоски, отзвуки текста «Послания к римлянам», где говорится о том, что не существует ни эллина, ни иудея...).

При этом вслед за Иммануилом Кантом, и не с меньшей последовательностью и твердостью, чем последний, Хабермас отстаивает позицию, согласно которой моральность в современных условиях выступает в ипостаси своеобразного «секуляризованного христианства», христианства без Христа, – учения и практики, которые попросту пережили смерть провозгласившего их Высшего Существа.

Кончина Бога, с точки зрения Хабермаса, двояким образом повлияла на судьбу моральных заповедей и, по сути, нашла воплощение прежде всего именно в видоизменении форм оправдания моральных регламентаций: во-первых, это выразилось в том, что личное спасение перестало быть главенствующим мотивирующим принципом моральности человеческих действий, во-вторых, – в том, что метафизика творения и соотношенная с ней метафизика естественного права утратили свои прерогативы в возведении моральных ценностей в ранг онтологических констант человеческого существования. Утрата упований на личное спасение явилась обозначением разрыва или, по крайней мере, необратимого истончения связи между моралью и этикой. Утрата веры в божественное происхождение земли и неба обернулось не менее необратимой утратой возможности описания человеческих поступков в терминах, соотносимых с безусловным разграничением ложного и истинного.

Именно эти две проблемы Хабермас считает основными для современного морального сознания. Не надеясь на их окончательное разрешение, автор книги делает совершенно иной жест: он осознанно заявляет, что полагается на обнаружение позитивных сторон произошедших изменений, которые наметили столь далекую от теологии и религиозного мессианства перспективу обоснования долга и налагаемых им обязательств.

В противовес обращению к плану трансцендентного, которое имплицитно предполагается любыми обещаниями загробной жизни, Хабермас целиком и полностью стремится ограничить сферу легитимации моральных суждений планом имманентного, рассматривая в качестве источника того, что он называет действительностью моральных норм,

практику коммуникации, в ходе осуществления которой эти нормы могут снискать признание и одобрение «всех».

«"Действенность" моральных норм, – пишет Хабермас, – означает теперь, что они способны снискать одобрение всех, кого они касаются, коль скоро эти затрагиваемые ими лица в одних лишь практических дискурсах сообща выясняют, представляет ли соответствующая практика равный интерес для всех них. В этом одобрении выражается допускающая возможность своего опровержения разумность *совещающихся* (здесь и далее выделено Ю. Хабермасом – А. А.) между собой субъектов, взаимно убеждающих друг друга в том, что гипотетически выведенная норма *достойна* признания, и свобода *законодательствующих* субъектов, сознающих себя в качестве инициаторов тех норм, которым они подчиняются как их адресаты. На смысле значимости моральных норм сказывается и погрешимость эвристического, и конструктивность проектирующего человеческого ума (с. 102–103)».

В противовес апелляции к корреспондентной теории истины, подразумевающей, в логике теологических концепций творения, что критерием последней выступает адекватность некой «настоящей» действительности, автор избирает конвенциональную теорию истины, в рамках которой (вопреки эпистемологическим установкам, грозящим, в представлении Хабермаса, религиозным фундаментализмом) именно коммуникации отводится главная роль в утверждении истинного¹.

«"Осторожное" употребление предиката – «р» может быть обосновано сколь угодно хорошо, но при этом *все же быть истинным* (выделено мной – А. А.) – обращает наше внимание на разницу в значениях между "истинностью" как неотъемлемым качеством высказываний и "рациональной приемлемостью" как контекстуально зависимым их качеством. Это различие мы опять-таки можем принимать в расчет ввиду слабой идеализации нашего аргументативного процесса (мыслимого как продолжающийся). Утверждая предикат «р», требуя тем самым признания его истинности и сознавая, что он может быть опровергнут, мы берем на себя аргументативное обязательство отстаивать «р» перед всеми возможными в будущем возражениями [с. 105]».

В конечном счете, обоснование смысла, предназначения и прерогатив моральных норм сводится Хабермасом к выявлению когнитивного наполнения последних. При этом мораль, движущей силой и побудительным мотивом которой выступает коммуникация, превращается в практику интерсубъективности, возводимую в обязанность для всех и для каждого и принимаемую как истина любой истины. Границы подобной интерсубъективности, как и границы, внутри которых происходит стирание различий определенного типа (определенных типов), – прежде всего этнонациональных различий, – в точности совпадают с мнимой безграничностью *глобализации*, чье когнитивное и нравственное измерение запечатлевается в особом видении долга, трактуемого в духе осуществленного Хабермасом перетолкования кантовского категорического императива.

Если одно из канонических определений категорического императива у Канта (то есть категорического императива времен Просвещения) звучит так: *«поступай только согласно такой максиме, руководствуясь которой, ты в тоже время можешь пожелать, чтобы она стала всеобщим законом»* (Основоположения метафизики нравов; 1994; С. 195), то переименованное определение, которое фактически предлагается Хабермасом (это определение может, в свою очередь, считаться категорическим

¹ Коммуникативные процедуры не определяют, конечно же, содержание истинного всеобъемлюще, но отвечают, однако, за указание для истинного именно той перспективы, которая превращает его в обязательную характеристику любых выдвигаемых аргументов.

императивом времен Пост-Просвещения) звучит следующим образом: «*норма является действенной только тогда, когда прямые и побочные следствия, которые общее следование ей предположительно повлечет за собой для положения интересов и ценностных ориентаций каждого могут быть без какого бы то ни было принуждения сообща приняты всеми, кого эта норма затрагивает* (с. 113)».

Соответственно, если Кант делает акцент на действенное провозглашение морального принципа, который мог бы стать принципом для всех, то Хабермас скорее стремится выделить условия действенности подобного провозглашения, которое делало бы категорический императив адекватным своему названию не только с *логической* точки зрения, но и с точки зрения *процедуры*, применяемой в его утверждении. Собственно именно процедура предстает в построениях Хабермаса обязательной компонентой процесса конституирования всеобщего как всеобщего и истинного как истинного. Познавательная истина, служащая отправной точкой рассуждений немецкого философа и социолога, и всеобщность социальных установлений, выступающая постоянным адресатом его размышлений, достигают единства благодаря сочленению логики и процедуры, а точнее, благодаря указанию на процедурный характер логики и логичный характер процедур.

Простая констатация истинности становится при этом созидющим принципом для подтверждения действенности регулятивов морали. Как свидетельствует Хабермас: «*Всего лишь указывая* (здесь и далее выделено Ю. Хабермасом – А. А.) на истинность ассерторических предложений, принцип рациональной приемлемости в то же время вносит *конститутивный* вклад в значимость моральных норм (с. 107)».

Предельное выражение кантова понимания *социального* заключается в его категории *царства целей*, в котором никто не вправе относиться к другому как к средству, превращается у Хабермаса во взгляд на *социальное как совокупность «процедурных моментов»* по выдвиганию этих целей, которым, с одной стороны, должен быть придан всеобщий характер, и которые, с другой стороны, несут всеобщее в себе. Дескриптивный аспект подобной всеобщности Хабермаса, как мы только что видели, ассоциирует с дискурсом истины, ее перформативный аспект – с дискурсом морали. Постольку поскольку оба аспекта у Хабермаса соединены, а оба дискурса продолжают друг друга, социальное у него создается как описание и описывается как артефакт. «Природа» конституированности объектов социального мира заключается, если следовать хабермасовским воззрениям, в их статусе конструкторов, с одной стороны, порождаемых в коммуникации, а с другой, – порождающих саму коммуникацию. Упрекающий Канта в «индивидуалистической редукции понятия автономии» и недостаточном отграничении этических вопросов от вопросов прагматических (см. с. 99), Хабермас так же смешивает этику и прагматику, однако делает это скорее под знаком того, что можно, по аналогии с его собственным утверждением, назвать *индивидуалистической редукцией понятия социального*. Эта вторая редукция чревата упущением, в котором признается сам создатель теории коммуникативной рациональности:

«От нашего ведения уходит не социальный мир как таковой, а структуры и процедуры аргументативного процесса, который служит одновременно и порождению, и обнаружению норм регулируемой по определенным правилам современной жизни. Конструктивистский смысл формирования моральных суждений, не должен исчезать, однако он не должен и разрушать эпистемический смысл моральных обоснований [с. 107]».

Рациональное раскрытие этого эпистемического смысла неотлично у Хабермаса от *утопии глобального мира*, который автор «Вовлечения Другого» воспринимает как реальное пространство, контуры которого раздвигаются по мере все более усиливающейся идеализации ставок в коммуникативном обмене мнениями, то

есть универсализации представления об этике, имманентно присущей дискурсу (и диктуемой не чем иным, как его собственной прагматикой). Однако именно эта связь прагматики с этикой в дискурсе, а шире – связь между социальным и моральными порядками, касающаяся уже не столько дискурсивных, сколько недискурсивных практик, не только остается для Хабермаса не проясненной, но и признается им не поддающейся прояснению:

«Этика дискурса оправдывает содержание морали равного обращения с каждым и солидарной ответственности за каждого. Разумеется, прежде всего она выполняет эту свою функцию путем разумного реконструирования содержаний моральной традиции, поколебленной в религиозных основах своей значимости. Если бы дискурсивно-теоретическая трактовка категорического императива оставалась во власти этой изначальной традиции, такая генеалогия *вообще* (выделено Ю. Хабермасом – А. А.) преграждала бы путь к обнаружению когнитивного содержания моральных суждений. *Морально-теоретического обоснования самой моральной точки зрения не существует* (выделено мной – А. А.) (с. 107-108)».

Этот вывод убедительно свидетельствует о зависимости морали от этоса, долга от блага, а также, не в последнюю очередь, и о зависимости модели устройства современного (постсовременного? постпостсовременного?) глобального или «мирового» общества от модели устройства античной ойкумены. Эта зависимость двулика, двойственна: во-первых, она проявляется в когнитивном обосновании моральных регламентаций, которое с неизбежностью востребует этику (в данном случае, этику дискурса), во-вторых, она дает о себе знать и в любом историческом прочтении моральных установлений (то есть в любом взгляде на них с точки зрения их происхождения и развития). Попытка Хабермаса придать подобного рода зависимости «всего лишь» процедурный характер оборачивается невозможностью выявить статус самих процедур, имеющих равное отношение как к запечатлению в коммуникации действительности правил и обязательств, так и к рациональному обоснованию их значимости.

Поскольку именно «процедурность» у Хабермаса является неотъемлемой чертой истинного и всеобщего, которые превращаются при ее задействовании в конститутивные принципы общественной жизни, исчезновение перспективы рассмотрения статуса этой «процедурности» лишает *социальное* сколько-нибудь отчетливых очертаний. Историко-рациональный анализ социального (и, прежде всего, анализ социальных отношений и сопряженных с ними различий) подменяется вне-историческим и, по сути, вне-рациональным обращением к индивидуалистической утопии глобализации, не ведающим ни о степени рациональности собственных когнитивных предпосылок, ни о формах историчности применяемых техник рационализации. Идеалистический горизонт глобализма затмевает собой реальное *становление общественных структур*, запечатлевающих глобализационные изменения, которые вершатся в рамках все более увеличивающегося господства *экономической власти*.

При этом вместе с нарастанием подобного господства все более усиливается *виртуализация* социальных связей, оказывающаяся неизбежной платой за институциональное закрепление в рамках модерновых (постмодерновых? постпостмодерновых?) средств массовой коммуникации тех привилегированных прав на существование, которыми наделяется утопическое отношение к автономии индивида, становящееся *реальным* лейтмотивом глобализации.

3

Симптоматично, что далее Юрген Хабермас критикует Джона Роулса именно за недостаточное внимание к процедуре, то есть к тому механизму, который, с одной стороны, олицетворяет интересубъективность, а с другой, служит ее воплощением.

Хабермас констатирует, что Роулс ставит при этом Интересубъективность на место Категорического Императива, связывая ее с обеспечением возможности дискурсивного обмена между гражданами, положенного в основание социальной жизни. При этом Роулс полагает, что конкретное состояние коммуникации покрыто пеленой неведения, то есть неопределенно именно с точки зрения притязаний на абсолютную значимость, на всеобщность значения *разумных оснований* приводимых в действие процедур.

Эта позиция серьезно отличается от позиции самого Хабермаса, пытающегося найти в каждом конкретном состоянии коммуникативного процесса процедурную гарантию моральных суждений и видящего такую процедурную гарантию именно в разумности, выступающей инстанцией абсолютного и универсального. Получается, что в хабермасовской интерпретации моральные суждения возникают лишь в идеальной (точнее, идеалистической) перспективе безграничности взаимопонимания, осуществляющегося под эгидой общего для всех Разума.

Если платой за подобную «безграничность» становится у Хабермаса глобалистская виртуализация социального, чреватая той всеобъемлющей индифферентностью достигших максимальной автономии индивидов, которая была немыслима даже для первых обитателей рая, то Роулс с его гипотезой «пелены неведения» лишает исходное гипотетическое (а значит вообще любое произвольно взятое) состояние дискурсивного обмена информационного наполнения. Уравнение участников этого обмена в незнании относительно того, что является для каждого из них благом, компенсируется наличием чувства справедливого порядка, которое позволяет осуществить генерализацию представлений о благой жизни. Это чувство именуется Роулсом *честностью*.

Исходная в концепции Хабермаса общеобязательность моральных норм в концепции Роулса теснится, таким образом, принципами справедливости и становится вторичной. (Причем даже гарантируемые исполнением этих норм права интерпретируются не как обратная сторона обязанностей, но как обратная сторона благ. Как констатирует Хабермас, права у Роулса «это *liberties*, защитные покровы для человеческой автономии²» (с. 195).)

Если у Хабермаса конкретных очертаний лишено социальное, поставленное в зависимость от процедур утверждения, собственный статус которых остается неопределенным, то у Роулса конкретных очертаний лишается именно мораль, растворяемая в политике, ведущейся от имени и во имя справедливости. При этом

² На наш взгляд, было бы крайне недальновидно возводить и эту позицию к кантианству, как того бы хотел, к примеру, известный словенский философ культуры и специалист в области теоретического психоанализа Славој Жижек, утверждающий, ссылаясь на Ж. Лакана, что в кантовых рассуждениях о теме долга скрывается проповедь, связанная с онтологизацией эстетики. Жижек полагает при этом: именно подобная онтологизация эстетики и раскрывает смысл этического. Иными словами, поскольку этика не сводится к исполнению некоей универсальной нормы, которой должно следовать в *любой* ситуации, она, применительно к *каждой* ситуации, предполагает создание некой особой, то есть заведомо *партикулярной* модели универсального. Критикуя гегелевский упрек Канту, Жижек отмечает: «... у Канта содержится более глубокое послание. Кратко говоря, – структура этического, структура долга обладает структурой того, что Кант в «Критике способности суждения» называет эстетическим суждением. Это значит, что и в своей этической деятельности вы не просто прибегаете в каждой конкретной ситуации к универсальным правилам. Но по поводу каждой конкретной ситуации нужно изобретать собственную универсальность, изобретать правила для каждой конкретной ситуации» (см. Жижек. Власть и цинизм; 1998; С. 173).

любая исходная ситуация изначально задается как неопределенная, однако не с точки зрения процедурных моментов, но с точки зрения их неисполнения.

Между *справедливым* и *честным* ставится знак равенства. Процедурные нарушения находят выражение в нечестности. Честность при этом оказывается достижимой лишь в рамках констатирования/конституирования справедливости. Последнее делает познание не столько сопряженным с поиском истины, в соответствии с которой определяется качество имеющихся знаний, сколько исследованием самого истинного через формы его утверждения в ходе обоснования различных картин мира и связанных с ними концепций блага.

Хабермасу недостаточно одной честности в силу того, что честность в понимании Роулса не обеспечивает универсализации прерогатив практического разума и недостаточно боится от возвращения к утилитаристской трактовке моральной философии, в рамках которой практический разум редуцируется к *инструментальному* (см. с. 164–165). Следствием такой редукции выступает возвращение к постановке вопроса, ассоциируемой Хабермасом с именем Гоббса: когда моральные основания непосредственно выводятся из рациональных мотивов, возможность моральных суждений сводится к осуществлению рационального выбора (там же). Это значит, что позиция того или иного человека в области морали прямолинейно объявляется продолжением его интереса. Иными словами, мораль становится лишь переложением определенным образом понятой целесообразности: норма или система норм принимается в том случае, когда ее применение и исполнение кажется выгодным или полезным. В ранг конечной инстанции долга субъективное решение, альтернативное теологической или метафизической причинности и конструирующей некое подобие такой причинности по своей воле.

Субститутотом традиционных форм причинности выступает принудительность социального порядка, учрежденного в своей незыблемости в момент заключения Общественного Договора. Однако общеобязательность принципов существования, закладываемых Общественным Договором, зиждется лишь на принуждении со стороны органов политической власти; считается, что она не имеет и не может иметь ничего общего с принудительностью кантова морального закона, действенного уже в силу своей всеобщности и абсолютности.

Моральный закон обращен, таким образом, не к заведомо партикулярной (добавим от себя, «античной») принудительности, связанной с политикой, но к принудительности универсального плана (вновь добавим – «новоевропейской»), которая связана с моралью. Эта принудительность диктуется уже самим восприятием человека как цели и общества как царства целей; она же призвана изменить саму перспективу властных отношений, поскольку предполагается, что она не имеет нужды в санкциях со стороны политики и санкционирует сами политические санкции.

Место Общественного Договора начинает занимать Категорический Императив, принудительность которого коренится не в одномоментном гипотетическом решении гипотетических индивидов, сопряженном с рациональным выбором и его политической институционализацией, но с категорическим утверждением человека в его прерогативах разумного существа, чей разум не просто обосновывает долг, но и сам параллельно возводится в ранг долга.

Проблема осмысления путей перехода от Гоббса к Канту представляется Хабермасом как важнейший стимул роулсовской моральной рефлексии. Однако с точки зрения Хабермаса Роулс не всегда последователен в своем движении и, более того, в относительно поздних работах склонен к предъявлению альтернативного направления движения. Прояснение содержания хабермасовской критики в адрес Роулса как нельзя лучше позволяет понять собственные интенции автора «Вовлечения Другого» в области развития теории морали. Остановимся на этом подробнее.

Прежде всего Хабермас причисляет Роулса к весьма недлинному ряду теоретиков (возглавляемых самим Кантом), рассматривающих возможности процедурного обоснования «моральной точки зрения», то есть соединить нравственную проблематику с проблематикой дискурсивно-коммуникативных процедур. Перспектива подобного единства открывается уже в рамках предлагаемого Роулсом видения «исходного состояния», которое характеризуется признанием у всех членов сообщества готовности к взаимопониманию, основанной на разделяемой ими презумпции равного уважения и ответственности друг за друга. Соответственно, автор «Теории справедливости» отмечает наличие норм и правил, заключающих в себе претензию на всеобщность.

Вместе с тем, отвергая частную телеологию рационального выбора, Роулс избегает и постановки цели, связанной с осмыслением рационализации выбора как такового под эгидой морали и долга. (Это, с одной стороны, вело бы к наделению претендующих на всеобщность правил и норм статусом некой незыблемой универсалии, а с другой – превращало бы абсолютизацию Разума в гарантию подобной незыблемости.) Выражаясь в терминах Хабермаса, Роулс уклоняется от исследования трансформации интереса в ценность (анализ подобной трансформации был завещан современной морально-политической философии и социальной теории одним из наиболее последовательных «кантианцев от социологии» Максом Вебером, наметившим границу между «ценностной» и «целевой рациональностью»).

Согласно автору «Вовлечения Другого», «“интерес” может быть описан в качестве ценностной ориентации, если... он разделяется и другими... (с. 166–167)». С точки зрения Хабермаса, чтобы преобразовать интерес в ценность, нужно, таким образом, освободить его от перспективы первого лица и наполнить интерес субъективным содержанием. После подобной операции интерес начнет котироваться как ценность и уже в этом новом качестве приобретет очертания нормы, нормативного суждения.

Однако, с одной стороны, может ли сейчас быть сформулирован любой интерес вне подобной процедуры? И, с другой стороны, могут ли современные процедуры утверждения моральных ценностей обозначать собой нечто никак не соотносящееся с интересами?

Вопросы подобного рода остаются у Хабермаса без ответа.

Причина этого проста, она кроется в том, что немецкому философу и социологу хотелось бы провести четкий непреодолимый рубеж между экономикой (как сферой интересов) и моралью (как сферой ценностей). Любое взаимодействие данных «сфер» рассматривается им лишь в перспективе распространения утилитаризма как символа проникновения логики экономических отношений в пространство морали. Проблема не в том, что экономика вторгается в «сферу» морали, а в том, что мораль не может обойтись без такого вторжения.

В действительности, утилитаристская идея рационального выбора выступает лишь самым безобидным следствием последнего. Важно, впрочем, то, что именно рациональный выбор является своеобразной первичной формой морального поведения или, что то же самое, «нулевой степенью» обобщения моральных ценностей (и, соответственно, совсем не случайно становится отправной точкой хабермасовской рефлексии о правилах и нормах).

Куда менее безобидным следствием того, что мораль не может обойтись без экономики, оказывается мерка всеобщности, которая избирается при описании наших моральных универсалий, то есть практического разума человеческого существа. Вслед за Кантом Хабермас пишет о превращении интереса в ценность лишь в ходе признания интереса всеобщим, то есть в ходе деления его другими людьми. Однако вряд ли в любом обществе можно найти что-нибудь более разделяемое людьми, нежели то, что их разделяет. Вряд ли в современном обществе можно найти что-либо более

объединяющее людей, нежели разделяющие их *экономические* различия; вряд ли в современном обществе существует более «всеобщий» тип связи между людьми, нежели *экономика*, которая разделяется людьми как способ проведения делений, разом сулящих и общность, и автономию.

Избранный как «нулевая степень» обобщения моральный ценностей, то есть как долг, асимптотически приближающийся к минимуму, рациональный выбор куда более значим для последователей Канта (каковым и является Ю. Хабермас), чем для последователей Гоббса (вроде новейших утилитаристов типа Г. Беккера). Новейшие утилитаристы воспринимают интерес лишь как экономическую категорию, лишая его морального измерения; Хабермас, в отличие от них, воспринимает интерес именно в качестве категории моральной рефлексии. Этот модифицированный и поднятый до статуса ценности интерес возвращается в область экономических размышлений, не оставляя иного шанса для экономики, кроме как быть истолкованной в терминах ценностей, а не стоимостей.

Рассуждение о нравственности в экономических терминах совпадает с провозглашением в качестве средоточия нравственной проблематики проблемы *долга*. Мораль должностования предъясвляет собой не что иное, как ценностную легитимацию меновых отношений. При этом моральная теория выступает в качестве специфической разновидности политической экономии, предметом которой выступает ценность как особая форма стоимости, ликвидная на особом «рынке», или, иначе говоря, норма, незыблемость которой обеспечивается посредством тех же форм, что и необратимость обращения вещи в товар. Аналогом рынка для моральных ценностей становится область публичности, область открытых дебатов и обсуждений. Аналогом «товарности» этих ценностей оказывается вовлеченность в дискурсивно-коммуникативные процедуры, способные валидизировать их в качестве универсалий и попутно обеспечить соответствующим статусом.

Поэтому не случайно, что Хабермас не удовлетворяется «экономической» разумностью, заключенной в рациональном выборе, и находит ее морально-этический эквивалент в виде *практического разума*.

Критика, адресуемая Хабермасом Роулсу, заключается в том, что Роулс недостаточно последователен в отстаивании прерогатив, которыми должен быть наделен практический разум, иными словами в том, что американский философ недостаточно последователен в своем кантианстве. Кантианская установка «Теории справедливости», с точки зрения Хабермаса, не была развита и не нашла полного подтверждения в более поздних работах, где мораль рассматривалась не в режиме всеобъемлющей универсализации, а в перспективе совпадения моральных принципов, существующих в различных картинах мира:

«Практический разум в моральном отношении словно выхолащивается и обесценивается до разумности, попадающей в зависимость от моральных истин, обоснованных другим путем. Моральная значимость концепции справедливости обосновывается теперь уже исходя не из связующего всех и вся практического разума, но из удачной конвергенции разумных картин мира, в достаточной содержащихся мере перекрывающих друг друга в своих моральных компонентах» (с. 168).

Без обращения к понятию практического разума для Хабермаса представляется немислимым обоснование «моральной точки зрения», которая связана у него с возможностью утверждения категорического императива. Как мы видели, формула категорического императива предполагает не только обнаружение морального измерения интересов, начинающих именоваться ценностями, но и возведение экономического поведения в ранг нравственной нормы – в упрощенном виде кантовский «нравственный закон внутри нас», выражающий новоевропейское, «западное» отношение к этической проблематике, гласит: *делай другим то, что хотел*

бы получить для себя. В этом смысле он противоположен так называемому «золотому правилу нравственности», характерному для Античности или «Востока» и заключающему в себе принципиально иную постановку вопроса: *не делай другим того, что не хотел бы получить для себя*³.

Каждый, кто, придерживаясь определенной картины мира, пытается обосновать политику морали, то есть открыть, в чем заключается справедливость, не просто тестирует себя на разумность (как того хотел бы Хабермас), но и предъявляет собственное понимание разумного, и одновременно, собственную практику рациональности (как ставит вопрос Роулс). Если подобное «понимание» относится к ведению метафизики, то подобная «практика» входит в компетенцию политики. Соответственно, первое не может быть представлено публично, а вторая как раз составляет как бы самую суть публичности. Это «раздвоение» Разума ведет к тому, что у Роулса, в отличие от Хабермаса, мораль, по большей части, рассматривается с точки зрения первого, а не с точки зрения третьего лица, поскольку оказывается в первую очередь связанной с не поддающимися публичной универсализации критериями истинного, в пределах которых действует и мыслит тот или иной субъект. Говоря по-другому, мораль у Роулса предстает как то, что принадлежит политическому, публичному, но принадлежит из перспективы каждого, а не из перспективы всех, то есть из перспективы картины мира, допускающей лишь определенные формы разумности и лишь определенные формы обобщения моральных позиций, которые могут соприкасаться друг с другом, но никогда не имеют общего источника. Это значит, что Роулс больше на стороне «золотого правила нравственности», нежели на стороне категорического императива, и что он в большей степени на стороне «экономии универсального» и в меньшей степени на стороне универсализации экономического.

Хабермас заключает, что Роулс смещает внимание с проблемы автономии на проблему экзистенциальной самореализации, вершащейся в этике и благодаря этике. Именно честность выступает условием подобной самореализации, выражающейся в провозглашении в качестве условия свободы человеческого права на авторство по отношению к собственной жизни. Именно благодаря честности экзистенция связывается со следованием нормам морали. Понятие «честности» относится, таким образом, к процедуре, которая венчает собой единение истинного и социального.

Происходит это под эгидой справедливости, превращенной в политику, которая опосредствованно налагает ограничения на обретение экономическими отношениями моральной власти, в пользу чего фактически высказывается немецкий оппонент Роулса. При этом границы политического у Хабермаса совпадают с контурами обосновывающей свою моральную власть экономики; у Роулса же, напротив, границы политического обозначают предел морализации экономической власти.

Совпадение позиций Роулса и Хабермаса в вопросе о морали возможно, таким образом, лишь в той степени, в какой обоснование моральной власти экономики расходится с подвергаемой морализации экономической властью.

Нет нужды говорить о том, что величина подобного расхождения может считаться как бесконечно малой, так и бесконечно большой.

³ Интересный опыт «экспликации» категорического императива и «золотого правила нравственности» представляет собой статья К. А. Крылова «Категорический императив» [http://www.traditio.ru:8101/krylov/kant_imp/html].

4

Не впадая в преувеличения, Хабермаса можно назвать философом немецкого чувства вины. Чувство вины составляет как бы саму модальность его рассуждений, оно выступает тем, что делает их возможными, позволяет им разворачиваться, запускать в движение хабермасовские концепты и теории. Тон извинений проник саму структуру текста автора «Вовлечения Другого»; парадоксально, но подобный тон – это все, что осталось от прежней повелительности философского слова немецких мыслителей, без авторитетной манеры которых немислим был царственный по своему размаху авторитет философии, никогда не стеснявшейся быть назидательной, строгой, самоуглубленной и величественной.

Философское сомнение Хабермаса питаемо лишь одной уверенностью, – в которую оно и упирается как в белую стену бесконечного тупика: речь идет об уверенности в вине. В той вине, которая наделяется максимальной позитивностью (что делает саму позитивность начиненной виной), в той вине, в ничтожную брешь которой забиваются и Бытие и Сознание (по причине ничтожества своего положения в одночасье оказавшиеся в стороне от спора о первичности одного над другим), в той вине, с которой соединена отныне любая декларация всеобщего (содержащее в себе разом и извинение за экономический «прообраз» всеобщности, и вяловатая попытка снабдить этот «прообраз» некой легитимностью, отмеряемой, впрочем, лишь по остаточному принципу).

Свои политологические рассуждения Хабермас начинает с темы национальной идентичности и исторической эволюции форм национального самоопределения. Пожалуй, не существует темы, где хабермасовское чувство вины, обращенное в жизненную философию и одновременно служащее симптомом «обезжизнивания» немецкой философской мысли, проявило бы себя с такой же мало с чем сопоставимой силой. Это, собственно говоря, не должно вызывать никакого особого удивления. Дело в том, что чувство вины Юргена Хабермаса имеет национальное происхождение. Генерализация виновности не просто осуществляется средствами философии, но и превращает философию в свое средство.

Мы уже кратко разобрались в вопросе о том, какими последствиями подобное превращение чревато для деятельности и самого статуса философа (а немецкий философ был, – по крайней мере до Хайдеггера включительно, – философом *par excellence*). Остается разобраться в том, почему становление национальной идентичности, которое мыслилось некогда в категориях всеобщего (Гегель, например, рассматривал данное становление как «всемирно-исторический процесс»), оказывается отягощенной тем же самым чувством вины, которым оказывается в настоящее время отягощена и философия. Причем именно современная немецкая философия (которая, помимо всего прочего, была еще и «национальной» *par excellence*) кажется отягощенной подобным чувством вины больше всего.

При этом Юрген Хабермас, как никто другой из немцев, рассуждающих о феномене национализма (обо всем, что связано с существованием наций в мире, переживающем глобализацию), являет своими сочинениями довольно яркий пример того, что о проблеме принадлежности к «некоему» национальному сообществу принято заявлять теперь с обязательными оговорками, как бы с неизбывным ощущением стеснения. Подобное положение дел исподволь увязывается автором «Вовлечения Другого» с опытом «постнационального» понимания политических отношений, с которым Германия вынуждена была столкнуться сразу после крушения нацизма, то есть существенно раньше, чем многие, если не все другие европейские страны:

«Пожалуй, сильнее, чем в других европейских странах, – констатирует Ю. Хабермас, – тенденция к некоему “постнациональному” самопониманию

политического целого проявилась в особых обстоятельствах Федеративной Республики, которая и так уже была лишена основных суверенных прав» (с. 217).

Вряд ли можно найти что-нибудь более близкое к примордиалистскому, натуралистическому истолкованию, нежели немецкое понимание духа нации, «народного духа», который мыслится как нечто обличенное в плоть и кровь. Примордиализм дает о себе знать далеко не только в специфическом этноматериализме, апеллирующем к поиску природных, прежде всего, биологических предпосылок социального единства. Напротив, настоящий примордиализм проявляет себя в натуралистических истолкованиях духовной или ментальной общности людей, относящих себя к одной нации. Этот натурализм – особого рода: он связан с применением органических, прежде всего растительных, метафор (как, например, в случае с тем же Гегелем) для описания становления духовных и/или ментальных явлений. Происхождение самих этих растительных метафор также трактуется достаточно своеобразно: они берут начало в Античности, которая осмысливается как эпоха произрастания сущего, принимающего, вбирающего в себя человека (эта тема явственно звучит у Хайдеггера). Причастность к нации мыслится, таким образом, как причастность человека к истории, причем истории, понятой как история роста на основе укоренения. Быть включенным в историю в данном случае – значит держаться корней. Корни же могут быть только античными, только сопряженными с единством политики и блага, венчающим полисное существование.

Только законченный примордиалист (каковым и является в действительности Хабермас) может считать, что примордиализм порождает сам себя и связан в своем развитии только с самим собой. Та форма примордиализма, против которой ополчается автор «Вовлечения Другого» (также, как и любая другая форма примордиализма), порождается как *эффект*. В данном случае речь идет об эффекте единства *этического* и *политического*, который возникает в рамках античной формы социального существования и оборачивается тем, что политика оказывается дистанцированной от права, а нравственность – от долга. Как только единство этического и политического начинает разрушаться, право, напротив, все теснее сближается с политикой, а этика – все больше начинает зависеть от морали.

На смену «этнического» примордиализма приходит примордиализм «общечеловеческий».

Различие между ними не в некоем тотальном несовпадении «природ», а в том, что в этих двух формах примордиализма по-разному задаются критерии «естественного» (равно как, соответственно, и критерии «неестественного» и «противоестественного»).

В первом случае, то есть в случае с «этническим» примордиализмом (примордиализмом *par excellence*), «естество» воплощается в «своем», которое определяется через «чужое». Во втором случае, в случае с «общечеловеческим» примордиализмом, «естество», также воплощается именно в «своем», но это «свое» определяется уже через самого себя, то есть само детерминирует «чужое».

И в том, и в другом случае наибольшее значение имеет не содержание «своего» или «чужого», а то, каким образом, а, говоря точнее, благодаря каким процедурам, это содержание определяется. Эти процедура непосредственно связаны с тем, какая сфера социальной жизни начинает главенствовать. Когда речь идет о главенстве «политии», «свое» определяется в горизонте слияния политики и этики, когда же речь касается главенства «экономии», «свое» определяется в горизонте слияния права и долга.

Проблема при этом заключается в том, что немцы склонны видеть себя универсальными посланниками сразу двух форм «естества»: и «естества» этнического, и «естества» общечеловеческого. Олицетворением посланника первого типа можно

считать К. Шмитта, олицетворением посланника второго типа безусловно является И. Кант.

Разумеется, Хабермас, полагаящий в качестве самого средоточия «естественного» и «своего» единое человечество вместе со всеми теми институтами и ценностями, которые скрепляют это «единство», полностью выступает на стороне создателя «Критики чистого разума». В своей полемике с К. Шмиттом Хабермас пытается подчеркнуть, что немцы всецело на стороне слияния права и долга, а не политики и этики, то есть на стороне «общечеловеческого», а не «этнического».

Автор «Вовлечения Другого» цитирует Шмитта, который пишет: «Есть преступления против человечности и преступления в пользу ее. Преступления против человечности совершаются немцами. Преступления в пользу человечности – против немцев» (см. с. 322–333). С точки зрения Хабермаса поводом для такого заключения выступает натурализация «политических» границ между «своим» и «чужим» (явно имеющего античное происхождение). Подобные границы могут быть названы границами отчуждения. Однако взамен подобной натурализации немецкий философ и социолог предлагает натурализацию иного рода: она основана на стирании упомянутых границ. Вместо противопоставления «своих» и «чужих» он прибегает к (новоевропейскому) противопоставлению тех, кто избавился от подобного противопоставления, и тех, кто в той или иной степени остался ему верен. Данное противопоставление обозначает собой натурализацию «экономических» границ, *границ присвоения*.

Именно это разграничение лежит в основе предлагаемого Хабермасом переосмысления понятий Первого, Второго и Третьего миров: к странам *Третьего мира* отныне призывается причислять страны с сильно разрушенными или крайне слабо развитыми государственными институтами, где постоянно существует угроза этнорелигиозных конфликтов и царят различные проявления фундаментализма; ко *Второму миру* теперь относятся деколонизированные страны с авторитарными режимами; наконец, в состав *Первого мира* с настоящего момента включаются страны, согласующие собственные национальные интересы с правовыми формами «всемирно-гражданского» уровня, которые связаны с нормативной деятельностью такой институции, как Организация Объединенных Наций.

Первый мир рассматривается Юргеном Хабермасом как зримое олицетворение Современности, своеобразная система эталонов современного бытия:

«Данный мир определяет собой как бы *меридиан настоящего* (выделено мной – А. А.), которым задается политическая синхронность несинхронного в экономическом и культурном отношении. Кант, как дитя XVIII века, мысливший еще не-исторически, не обратил на это внимания и не заметил здесь *реальной абстракции* (выделено Ю. Хабермасом – А. А.), которую организация общности народов вынуждена осуществлять и одновременно считаться с ней в своей политике [...] Политика Объединенных Наций способна учесть эту “реальную абстракцию” лишь стремлением к преодолению социального напряжения и экономического неравновесия. Это, в свою очередь, может увенчаться успехом лишь в том случае, если, вопреки стратифицированию мирового сообщества, консенсус складывается по меньшей мере в трех аспектах: разделяемого всеми членами исторического осознания несинхронности обществ [...]; нормативного соответствия между правами человека, истолкование которых до сих пор является предметом споров [...]; наконец, согласия относительно концепции вождельного мирного состояния» (с. 306-307).

Обратной стороной этого консенсуса у Хабермаса оказывается так называемое «право на гуманитарные интервенции», санкционированные со стороны всемирной политико-правовой инстанции, «объединяющей нации». Утопия того порядка, который берет начало в кантовом проекте «Вечного мира», проявляет себя в новой форме войны

– в войне за гуманизм. (Эта форма войны бесспорно сильнейшим образом отличается от той формы, к которой апеллирует К. Шмитт в рамках своей проповеди радикального контрпацифизма⁴).

* * *

«Вечный мир» Канта, критикуемый Хабермасом за то, что определяется лишь чисто негативно, то есть посредством постулирования некоего состояния отсутствия войны, обретает у самого Хабермаса *позитивное определение*.

Оно связано не просто с самим по себе феноменом делиберативной политики, то есть политики переговоров и консенсуса, а с попытками ее распространения во всемирном масштабе. *В условиях, когда «чужое» упраздняется, подменяясь политкорректной фикцией «другого», делиберативная политика неизменно вырождается во всемирно-исторический разговор между «своими».* (Выражаясь последовательнее, по-видимому, только так и возможна любая политическая коммуникация, только так коммуникация и становится «политической»).

Способом распространения делиберативной политики становится в настоящее время мировой порядок, поддерживаемый под прицелом оптических систем бомбардировщиков, осуществляющих гуманитарные военные операции (целью которых служит вовсе не столь уж таинственное превращение «чужого» в «другого», то есть, в конечном счете, в «своего»).

Позитивное определение *мира* отныне связано, таким образом, с открытым выражением особой воинственности западного, новоевропейского гуманизма, универсализм которого дает о себе знать лишь в форме интервенций. Речь идет не просто об издержке, связанной с некой современной модификацией представлений гуманистов. *В настоящее время таково неотъемлемое условие, или, иначе говоря, конститутивный принцип существования гуманистического мировоззрения как такового*⁵.

В заключение хотелось бы отметить: независимо от того, чем при подготовке к публикации данной книги Хабермаса были мотивированы ее переводчик и издатели, обращение к ней российского читателя может немало способствовать осознанию прозрачности границы между экспансионизмом и гуманизмом. А значит и ходу современных размышлений о возможных альтернативах глобализации, о той роли, которую может сыграть Россия в их поисках. Впрочем, провоцирование подобных размышлений, судя по всему, менее всего входило в задачу автора «Вовлечения Другого». «Другое» и «Другой», в этом смысле, так и остались не вовлеченными...

⁴ Война, о которой пишет К. Шмитт, всегда ведется от имени и во имя нации, выступающей, согласно шмиттовской точке зрения, конечной инстанцией политического (сводимого во вполне античном духе к определению «своего» через «чужое» и подпитываемого, таким образом, энергиями противостояния врагу). Впрочем, для нас же вопрос в данном случае заключается, далеко не в том, чтобы следовать логике однозначного и «лежащего на поверхности» противопоставления позиций Шмитта и Хабермаса. Напротив, простое сопоставление данных позиций не может не указать на их некую взаимную согласованность. По отношению к тому, что Хабермас понимает «своим», попросту упраздняется все «чужое». Однако в какой форме осуществляется это упразднение? Не подкрепляется ли оно процедурами, которые сродни шмиттовским процедурам национальной самоидентификации? Не создается ли пресловутое «единое человечество» по канонам самоопределения наций, причем не «неких», а вполне определенных новоевропейских наций, *наций Запада?* (с. 322-332)

⁵ Следствием подобной постановки вопроса, конечно же, не могло не стать безоговорочное одобрение Ю. Хабермасом и К.-О. Апеллем натовской операции на Балканах.

СТАТЬИ И ЭССЕ

*Яницкий О.Н.**

«КРИТИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ»: СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК В «ОБЩЕСТВЕ РИСКА»

Аннотация

В статье на российском материале анализируется феномен «критического случая», т.е. такого состояния «общества риска», когда производство бедствий и разрушений является доминирующим способом общественного производства. Подобные случаи могут как возникать в ходе длительной деволюции общества, так и конструироваться политическими средствами. Рассматриваемый случай есть легитимация производства рисков, выгодная силам, находящимся за пределами критической зоны. Этот случай есть также гуманитарная катастрофа, ведущая к невосполнимым потерям человеческого капитала. В рассматриваемом случае социальный порядок теряет всеобщий характер и фактически приватизируется. Иными словами, «критический случай» представляет собой иррациональный социальный порядок, который заставляет социологов пересматривать сложившиеся представления о норме и патологии, привычном и экстремальном и т.д.

Постановка вопроса

В современной российской социологии сложилась любопытная ситуация. В ответ на слом прежней социетальной системы и сопровождающие его негативные процессы множатся работы, изучающие страхи и катастрофы в современной России. Это – философско-социологические исследования страхов [1], серия российских и международных исследований, посвященных катастрофическому сознанию в современном мире [2], анализ способности людей противостоять страхам и тревогам [3]. Это работы по риск-рефлексии в идеологии общественных движений [4]. В публикациях Л. Гудкова страх трактуется как «рамка» интерпретации настоящего, как негативный модус соотнесения, переоценки важнейших повседневных практик [5]. Воздействие рисков и опасностей на уклад жизни территориальных сообществ изучается коллективом под руководством А. Мозговой [6]. Восприятие мегарисков (Чернобыльская катастрофа) и связанный с ними экзистенциальный страх исследуются украинскими социологами [7]. Иными словами, множатся работы, посвященные поведению человека и сообществ в экстремальных ситуациях. Однако в большинстве из них социальные катастрофы трактуются как события или ситуации, порожденные рисками различного масштаба и силы. Лишь в очень немногих проектах страхи (этнические и другие фобии) исследуются и трактуются как моменты особого типа воспроизводства социальной жизни и социального порядка [8–10].

Задача настоящей статьи состоит в том, чтобы на основе разработанной мною применительно к современной России концепции «общества риска» [11–14] рассмотреть изменения социального порядка общества и ряда связанных с ним характеристик в ситуации

* Яницкий Олег Николаевич, доктор философских наук, главный научный сотрудник Института социологии РАН. E-mails: yanitsky@mtu-net.ru; yanitsky@isras.ru

Статья подготовлена при поддержке РГНФ грант №02-03-18140а

© Центр фундаментальной социологии, 2002г.

© Яницкий О.Н., 2002г.

«критического случая», т.е. в таком состоянии «общества риска», когда производство бедствий и разрушений является доминирующим способом общественного производства.. Настоящее исследование опирается главным образом на материалы журналистских расследований чеченского конфликта. Однако легко убедиться, что предлагаемая вниманию читателя тема анализируется другими авторами на ином материале [15–17].

Общие теоретические положения

Риск есть вероятность потерь (бедствий, разрушений) или приобретений (благ, социального или культурного капитала), имеющих ценность для некоторого социального субъекта (человека, группы, сообщества, общества). Этот двойственный смысл риска (его двойственная вероятность) заложен в каждом акте социального производства.

Риски могут возникать естественным путем в ходе эволюции общества или же социально (политически) конструироваться. Так, в современных условиях «конфликт» (центра и периферии, государства и одного из его субъектов, национальных групп) может не только конструироваться, но и доводиться до состояния «критического случая» противоборствующими группами интересов.

Риски являются следствием как действия, так и бездействия. Степень риска может варьировать от незначительной до критической, т.е. разрушительной для данного субъекта. Для всякого социального субъекта есть социально приемлемый уровень риска, детерминируемый культурой, его собственным опытом и конкретной ситуацией.

Риски, подобно любому продукту общественного производства, могут отделяться от их непосредственного производителя и функционировать в обществе самостоятельно как «социальные факты» либо как некоторый социальный инструмент (идеология, социальный проект, общественное движение).

Критическим (именно критическим, а не кризисным, поскольку кризис есть фаза или момент развития общественного производства) я называю состояние социального субъекта или ситуацию, когда производство рисков как потерь (бедствий) является безраздельно господствующим способом социального производства.

С метатеоретической точки зрения, «критический случай» есть предельный («идеально-предельный» по терминологии П. Сорокина) случай производства риска именно как бедствия: максимальная ставка (угроза распада государства, конкретного сообщества; жизнь человека) в условиях максимальной неопределенности ситуации и перспектив (непрогнозируемость, некалькулируемость последствий).

В «обществе риска» «критические случаи» регулярно повторяются, воспроизводятся вследствие постоянно воспроизводимого внутреннего раскола в самом обществе (его правящей элите, между конкурирующими группами интересов внутри и за пределами страны). В конечном счете возникновение подобных случаев коренится в отсутствии у общества и его социальных субъектов способности к обучению на ошибках и самокритике, т.е. к рефлексии.

Теоретически господство производства рисков (именно как потерь, бедствий) в некотором (со)обществе означает:

(1) прекращение производства материальных и духовных благ и, следовательно, распад и постепенное исчезновение или перерождение всей совокупности социальных институтов и отношений, связанных с этим процессом. Созидание как основополагающая форма социального действия и, следовательно, как социологическая категория теряет смысл. Коллективные социальные субъекты (сообщества, государства, сетевые системы) переключаются на производство средств разрушения и обороны, равно как и на производство разрушительных действий как таковых;

(2) происходит чудовищная трансформация института труда. Во все времена мирный (созидательный) труд соседствовал с ратным, т.е. разрушительным. Однако в «критическом случае» фактической целью мирного труда становится разрушение, инструментом – насилие,

а результатом – нанесение ущерба (частичного или максимального). Под категорию мирного труда в таком случае подпадают заложничество, производство и торговля наркотиками, торговля «живым товаром», использование рабского труда, производство различных фальсификатов (продуктов питания, алкогольной продукции, лекарств). Такой «мирный труд» порождает в обществе всеобщее недоверие и страх;

(3) под воздействием этих трансформаций в конечном итоге изменяется все: социальный порядок, социальная структура сообщества, уклад повседневной жизни, психология людей, отношение к окружающему миру. Поэтому возникающие в этой среде экологические или психические факты должны социологически интерпретироваться и рассматриваться в качестве социальных фактов («я хочу умереть» – тоже социальный факт);

(4) в рассматриваемом случае производство бедствий превращается из сопутствующего момента производства благ (социальных ценностей) в доминирующий способ социального производства, имеющий свои цели, ценности, институты и закономерности. Хотя внешне институты, организующие социальный порядок, могут сохраняться (законодательство, парламент), по существу это – уже другое общество;

(5) производство рисков (именно как бедствий, разрушений) не может быть точечным процессом. Здесь действует закон социальной симметрии. Подобно тому, как социальное развитие осуществляется постепенно, «ареалами», так и целенаправленное производство рисков из точечного процесса рано или поздно превращается во всеохватывающий;

(6) геноцид, война, подрывная деятельность, терроризм как массовое действие представляют собой не отдельные акты насилия и даже не их совокупность, но организованное производство рисков, нацеленное на разрушение некоторого социального сообщества;

(7) доминирование производства рисков (бедствий) формирует в критической зоне специфические «пространство и время». Физические расстояния измеряются не скоростью средств передвижения, а масштабом ожидаемых потерь и соответственно ресурсом, необходимым индивиду (группе) для обеспечения своей относительной безопасности. Риск и порождаемые им страх и всеобщее недоверие детерминируют траекторию, скорость и ритм пространственных перемещений. Например, день и ночь – оцениваются уже не как привычные периоды бодрствования и сна, работы и отдыха, а с точки зрения вероятности причинения ущерба и защиты от него, т.е. как более или менее опасные «временные коридоры» для человеческой активности;

(8) производство бедствий имеет свою логику развития (эффект бумеранга): террор порождает антитеррор, насилие порождает насилие, военные действия – сопротивление и т. д. Однако при длительном развитии критической ситуации в конечном счете складывается некоторое единое «критическое сообщество» (антисообщество, или негативный симбиоз) сил вторжения (давления), сопротивления (защиты, обороны) и страдающих мирных граждан;

(9) феномен двойного риска. В сущности «критический случай» есть предпосылка и результат двустороннего процесса демодернизации. С одной стороны, производство общественной жизни и социальных ценностей не только минимизируется, но и приобретает архаичные формы (собирачество, натуральный обмен, вынужденное иждивенчество, грабежи, похищение людей, выкуп). Экономически и социально активное население резко сокращается. С другой, технологии разрушения и нанесения ущерба «противнику» становятся все более изощренными, а орудия разрушительных действий – постоянно модернизируются. Возникает институт «обучения насилию и разрушению» (тренировочные лагеря для обучения террористов, фильтрационные пункты). Еще одна проблема заключается в том, что в рассматриваемом обществе форма более не соответствует функции – под шапкой организаций созидания (учебных, экспертных, благотворительных, спортивных) осуществляется накопление разрушительного потенциала;

(10) социальная среда критического сообщества из поглотителя рисков трансформируется в их производителя, от которых страдают все стороны, вовлеченные в

конфликт (эскалация враждебности и обучение насилию, похищения людей, скота и домашнего имущества, болезни и эпидемии, страх, психические расстройства и самоубийства). Рискогенная среда выталкивает трудоспособное население, ориентированное на созидательный труд, и, напротив, притягивает криминал во всех его формах. Однако главный риск состоит в том, что организация социальной среды целиком детерминируется формами и ритмами «критического случая». В подобных ситуациях самоорганизация населения приобретает специфические формы: организация сопротивления (партизанская война), посредничество (между враждующими сторонами), криминальный бизнес и возникновение групп взаимопомощи с целью физического выживания;

(11) трансформируется и социально освоенная среда обитания (природный и техногенный ландшафт). В обществе возникают «зоны», непригодные для хозяйства и нормальной жизни из-за перманентной угрозы невосполнимых потерь вследствие военных действий, загрязнения среды или периодических «зачисток». Вместе с тем даже много позже после формального установления «мира» (прекращения военных действий или введения миротворческого контингента) обжитые ранее территории – зоны жизни – превращаются в «мертвые зоны» (земля, непригодная для обработки, минные поля, отравленные реки, разрушенные поселения и ирригационные системы).

Историко-культурные и геополитические предпосылки

«Критический случай», как и порождающий его процесс общественного производства рисков, имеет две стороны. С одной, подобный случай представляет собой концентрированное выражение его долговременных негативных тенденций. Распад СССР и последовавшие за ним разрушение экономических и социальных институтов, массовая безработица, социальная неустроенность, подавленность психики – все это привело в конечном счете к производству «энергии распада» (безработные, беженцы, вынужденные переселенцы, криминальные сообщества) [14] и как результат – к появлению «критических зон» на территории страны.

С другой, что и случилось в России, серия «критических случаев» является инструментом и результатом большой политической игры или проекта. Военная угроза или «маленькая победоносная война», массовые разрушения и катастрофы использовались как средства консолидации нации и мобилизации ее ресурсов с целью консервации разрушающегося социального порядка [18]. Но если предпосылки для конструирования «критического случая» могут быть выявлены достаточно определенно, то траектория его развития и, следовательно, масштаб потерь не поддаются вычислению, потому что по ходу дела в игру вступают все новые группы интереса. Так, чеченский, абхазский и ряд других конфликтов получили название «договорных войн», поскольку были результатом соглашения (или сговора) военно-политических сил, находившихся далеко за пределами данного региона.

«Критический случай» критичен именно потому, что стороны, вступившие в силовое взаимодействие, исключили историко-культурный фактор из своих идеологий, программ и практик этого взаимодействия. Так, по отношению к современной Чечне российские военачальники применили принцип «белого листа», высмеянный еще Л. Толстым в «Войне и мире».

Как пишет Д. Фурман, речь прежде всего идет об игнорировании системы ценностей, в значительной мере сохранившейся до сих пор, чеченском свободолюбии и своеобразном симбиозе «анархической» разобщенности и сплоченности. Во-вторых, не была учтена интравертность и закрытость чеченского общества. «Мнение своих значит очень много, мнение же чужих, например, русских, – мало». В-третьих, идеологи первой чеченской войны (1991–1994 гг.) забыли о психологическом факторе формирования социального порядка. Депортация – это страшная психологическая травма, воспоминание о которой и ужас перед возможностью ее повторения преследуют каждого чеченца. События тех лет оживили этот

ужас. Чеченцы не просто боролись за свободу Чечни, они боролись за жизнь, за существование своего народа, не только против реальных угроз и опасностей, но и против мифологической угрозы. Наконец, это специфика современной чеченской элиты, состоящей из представителей низовых и маргинальных социальных слоев, не способных ввести национально-освободительное движение в «цивилизованное» русло.

Поэтому, заключает Фурман, «главный источник чеченских бед – само чеченское общество. Все чеченские проблемы упираются в одну – трудность создания в Чечне упорядоченного правового государства, трудность, связанная с глубокими особенностями чеченской культуры». Особое значение имеет двузначность, двумирность современной чеченской культуры. С одной стороны, это способность смело и изошренно воевать и побеждать, а с другой – отсутствие идеологических и психологических предпосылок для построения своей государственности [19].

Историко-культурной предпосылкой формирования «критического случая» явилась культивируемая с обеих сторон подозрительность и отчужденность, которая была питательной почвой создания «взаимных» образов врага. Если со стороны российских идеологов это был культивируемый еще со сталинских времен образ «подозрительного и неблагонадежного народа», которому не следует доверять (позже – «лицо кавказской национальности»), то чеченскими идеологами врагами Чечни объявлялись не только Россия, но Запад вообще и даже «международное еврейство».

Однако при всем различии менталитета и исторического опыта чеченцев и русских, они не были враждебны друг другу. Но длительная и жестокая социальная и экономическая маргинализация тех и других сделала их не только социально, но и политически неустойчивыми, склонными поддерживать идеи «сильной руки» и наличия «внешнего врага». Порядок, основанный на идеологическом стереотипе «дружбы народов» и соответствующих ему общественных практиках, рухнул в одночасье.

О «критическом» модуле общественного производства

Несмотря на свою кажущуюся исключительность, «критический случай» подчиняется общим закономерностям функционирования «общества риска». В рамках данной теоретической точки зрения, «последствия» разрушительных действий (убитые, пропавшие без вести, раненые, пленные, захваченные в рабство, психически покалеченные, сообщества беженцев и переселенцев, омертвление земли) никуда не исчезают. Напротив, они представляют собой активные социальные факты, которые, порождая другие социальные факты, в конечном счете производят социальные изменения не только в социальном порядке «критической зоны», но и обществе в целом. Всеобщность риска состоит в данном случае в том, что эти «последствия» изменяют политический климат в стране, влияют на общественное мнение и поведение людей, стимулируют возникновение новых инициативных групп и общественных движений, ложатся бременем на бюджет страны, на институты реабилитации и социальной защиты, формируют психологию молодого поколения. Наконец, эти «последствия» надолго остаются в памяти каждого. Таким образом, «закон бумеранга» (У. Бек) действителен и здесь.

Но дело не только в «бумеранге». Восстановление, выход из «критического случая» всегда дороже и дольше при том, что прежний уровень никогда не достигается. Как на месте срубленного дуба сначала может вырасти только осина, так и на месте разрушенного социального порядка может возникнуть сообщество, организованное «на порядок» ниже. Своего рода социальная сукцессия. Могут возразить: а стоит ли возрождать прежний порядок? Это – особый вопрос, который мы здесь не рассматриваем. Дело в другом – в ухудшении качества социума, в частности под воздействием отрицательной селекции, когда в процессе разрушительных действий изменяется качественный состав населения – гибнут (эмигрируют, дисквалифицируются, болеют, умирают) его лучшие элементы и остаются жить и плодиться «худшие». П. Сорокин подчеркивал, что «элементы морально чистые» не

выдерживают «раздражений» среды, не могут отказаться от выполнения своего долга, что «усиливает риск гибели таких людей» [20, с. 423–424). Таким образом, говоря современным языком, «критический случай» означает невозможность былого человеческого капитала.

«Критический случай» в терминах социологии есть *гуманитарная катастрофа*, т.е. такое состояние общества, когда оно не способно самостоятельно поддерживать свою жизнедеятельность на минимально допустимом уровне (самосохранение). Основные характеристики гуманитарной катастрофы: отсутствие производства благ и услуг, голод, болезни, эпидемии, полная социальная и территориальная иммобильность. Сокращающееся и социально деградирующее вследствие названных выше причин человеческое сообщество выживает исключительно благодаря гуманитарной помощи (т.е. притоку ресурсов извне).

Большинство населения, прежде всего женщины и пожилые люди (стариками), хотят работать, получать нормальную зарплату, посылать детей в школы и вузы. Но жизнь на благотворительную помощь в конце концов разлагает. «Народ к этому привыкает и начинает паразитировать». Поэтому в лучшем случае, как это и происходит на деле, приходится начинать с восстановления патерналистского социального порядка советского образца: минимальное государственное обеспечение мирного населения (зарплата, пенсии, пособия) при минимальной его ответственности за все остальное.

Выделим еще два признака этой катастрофы. Во-первых, «эхо» производства бедствий имеет очень долгий «период полураспада» вследствие неспособности соответствующих (похоронных, судмедэкспертизы и др.) служб выполнять свои функции должным образом (поиск убитых, раненых, пропавших без вести, похищенных военных и гражданских лиц, их идентификации, информирования родственников, доставки тел убитых и похорон). Этот процесс иногда растягивается на годы, ударяя не по виновным в непрофессионализме и халатности, а по родственникам погибших. Такой вот специфический «бумеранг». Во-вторых, эта неадекватность государственных служб вынуждает родственников вести самостоятельные поиски и расследования в одиночку, на свой страх и риск, теряя последнее здоровье и терпя бесконечные унижения от российской бюрократии. Возник даже специальный термин – «материнское расследование». Страдания тех, у кого родственники пропали без вести или погибли, это тоже гуманитарная катастрофа.

«Критический случай» в терминах социологии есть также одна из фокальных точек *информационной войны*. Публичный дискурс по поводу «случая» формирует общественное мнение и детерминирует политический процесс, стимулируя возникновение (специфических) риск-размежеваний и риск-солидарностей. Информационная война затрагивает жизнь миллионов людей и организаций далеко за пределами критической зоны. Как свидетельствует новейшая история, многие «критические случаи» были заранее так или иначе политически сконструированы и затем растиражированы СМИ. Всякий мельчайший поворот событий в зоне «критического» риска просматривается и оценивается «наверху» с точки зрения его политической целесообразности.

Вместе с тем информация и сети ее распространения – мощный источник психологических рисков. Поскольку «критических случаев» становится все больше (аварии, природные и рукотворные катастрофы, заказные банкротства, убийства и похищения), электронные СМИ постепенно превращаются в производителя *катастрофической атмосферы* в обществе. Так как человек не может все время адекватно реагировать на поток «черной» информации, то мы получаем обратный результат: «наркотизацию страхом» и, следовательно, невосприимчивость людей к беде, апатию (астенический синдром, по Ю. Леваде). Заметим, что «критический случай» есть ситуация без обратной связи. Тысячи военных, политиков, ученых комментируют подобные случаи (Афганистан, Чернобыль, Чечня, Таджикистан), десятки благотворительных и иных организаций включены в этот коммуникационный процесс, кроме самого местного населения. Оно не имеет прямого права голоса, его мнение систематически не изучается и не анализируется.

В мотивационном смысле «критический случай» представляет собой механизм трансформации производителей в разрушителей или спасателей. Мирные граждане превращаются в солдат или боевиков, строители – в саперов и подрывников, больницы превращаются в госпитали и т.д. Особый момент – это понуждение к разрушительной деятельности, т.е. превращение в «боевиков» тех граждан, которые стремятся жить мирным трудом. Частный, но важный момент: в России долгое время сохранялось уважительное отношение к противнику. Сегодня же криминальная (блатная) культура господствует безраздельно.

«Критический случай» в политэкономических терминах представляет собой легитимацию производства рисков, опасностей, разрушений. Подобный случай для его организаторов есть дважды экономически выгодное занятие. Во-первых, это производство оплачивается им как «служба» из государственного бюджета, причем, скажем, боевые действия оплачиваются (всем вовлеченным в конфликт сторонам) выше, чем просто военное присутствие. Во-вторых, капитализируются сами последствия производства бедствий. Например, как это было еще недавно, контролировать разрушенный Грозный – значило, контролировать грозненские рынки, вывоз цветного металла с разрушенных предприятий и околוגрозненские нефтяные вышки. А кроме того, контролировать основные финансовые потоки из Москвы на восстановление Грозного [18, с. 4]. Наконец, «критический случай» увеличивает политический и социальный капитал его идеологов и организаторов.

Особо отметим такую форму производства разрушительных действий, как безадресный и анонимный терроризм. В отличие от «адресного» теракта (т.е. целенаправленного риска), который обычно представляет собой «заявку» на диалог с противником, безадресный и анонимный терроризм является типичной формой *всеобщего риска*, поскольку имеет своей главной целью нагнетание атмосферы страха и неопределенности во всем обществе. Ему сопутствует другая форма всеобщего (безадресного) психологического давления на все население, безразлично – мирное или воюющее: распространение тревожных слухов (о возможном выселении, переселении и т.д.), а также «беспокоящий огонь».

«Критический случай» легитимирует не только производство разрушений, но и потери любых ресурсов. Иными словами, легитимируются все виды производства рисков, в том числе рисков для их производителя. Перефразируя известный принцип, можно сказать, что «критический случай все спишет» (людские потери, ресурсы, вложенные в восстановление городов, инфраструктуры и т.д.). Это старая форма легализации «беспредела» является родной сестрой столь же древнего принципа «победителей не судят». Вместе с тем, подобные случаи являются рациональными и морально оправданными с точки зрения существующей концепции национальной безопасности, поскольку позволяют списывать старую технику, опробовать новые военно-технические системы, совершенствовать тактику армейских и контртеррористических операций, т.е. модернизировать силовые структуры государства. В этом – еще одно проявление двойственности производства рисков.

Наконец, «критический случай» повсеместно порождает различные формы *теневого торга*: между носителями военной и политической целесообразности, между мирным населением и работоторговцами, между призывниками и военкоматами (откуп от призыва в армию). Торгуются гражданские и военные, политики и депутаты о цене любой достоверной информации, касающейся возможного риска или реальной угрозы, о цене помощи тем, кто оказался в зоне «критического случая», о праве распоряжения ресурсами и имуществом в зоне конфликта и т. д.

Изучаемым нами случаям обычно сопутствуют два вида бизнеса: большой, завязанный на международные финансово-промышленные группы, и малый, строящийся на разрушениях и несчастьях мирных жителей. Большой бизнес войны – тема отдельного разговора. Отметим лишь два момента, связанные со средой обитания рядовых граждан.

Возникновение «критического случая» очень часто есть результат столкновения в некоторой точке между конкурирующими силовыми и финансово-промышленными группами, находящимися далеко за пределами критической зоны. «Критические случаи» порождают вокруг них неопознанные военизированные формирования и группы местных жителей, источником существования (или наживы) которых является «окончательная» разборка инфраструктуры гражданских и военных поселений, брошенной техники, коммуникационных сетей и т. п.

Малый бизнес – это базар, на котором жители торгуют продуктами разрушений (кирпичом, деревом, металлоломом и прочими элементами строительного мусора) плюс сеть полулегальной торговли продуктами и предметами, проданными военными служащими или кем-то украденными с еще действующих в зоне конфликта предприятий и инфраструктур (газ, конденсат, бензин, продукты питания). Как отмечается, ситуация «полувойна–полумир» является источником существования как рядовых военных, так и бедствующего населения. В общем и целом с экономической точки зрения рассматриваемый случай есть способ и форма утилизации *продуктов разрушений и распада*, и в этом смысле он принципиально не отличается от процессов, происходящих в обществе в целом.

Однако «критический случай» характерен особой формой экономических отношений – торговлей живым товаром. Речь идет об экономической стороне процесса посадки-освобождения людей за участие в бандформированиях. Ему сопутствует рынок торговли правами человека, но рынок этот также «критический», криминальный, поскольку он основан на доносительстве и стремлении поживиться за счет чужой беды. Причем у жертвы нет никаких гарантий (максимальный риск): если ты откупился один раз, скорее всего заставят откупаться еще и еще. В подобных ситуациях формируются и сообщества людей, узурпировавших у государства функцию поддержания социального порядка, осуществляемую в форме частной торговли правом на жизнь.

Вообще, когда сообщество лишено возможности вести нормальное производство, оно старается выжить не только за счет гуманитарной помощи, но и мобилизации внутренних (накоплений, личного имущества) и экспроприруемых ресурсов, торговли с противоположной стороной. Солдаты продают ворованное горючее, местные жители – конденсат, произведенный на подпольных мини-заводах по перегонке нефти. За право продажи воды населению соперничают федералы и теневые дельцы. Максимальный риск для жизни рядовых военнослужащих, помноженный на их материальную бедность и высокую степень неопределенности ситуации (политической и военной), в которой они находятся, инициируют процесс деградации армии как «производителя порядка». Чем дольше сохраняется подобная ситуация, тем интенсивнее деморализуются силовые структуры и тем меньше способны заниматься своим прямым делом. В мыслимом пределе эти силы превращаются в добытчиков пропитания, торговцев оружием и правом на жизнь.

Выше мы говорили, что одинаково рискованными могут быть ошибочные решения и бездействие. В критических зонах растет число immobileного и одновременно пострадавшего населения (старики, дети, раненые, больные, в том числе психически подавленные), в отношении которого «риск бездействия» может иметь необратимые последствия, особенно когда это касается immobileной части населения. Если в других случаях (лагери беженцев) помощь все же приходит, то здесь цена вопроса – сотни и тысячи человеческих жизней.

Пространство «критического случая» может быть условно представлено в виде ряда концентрических кругов вокруг некоторой «горячей точки». Спецификой этой структуры «центр–периферия» является тот факт, что разрушительные действия направлены одновременно от центра к периферии и от нее – к центру. Чем выше давление центра в «горячей точке», тем интенсивнее распространяется «эхо» этих действий по всей стране. В конечном счете, социальная экология критического случая представляет собой территориально расширяющуюся сеть источников и жертв риска.

«Критический случай» – это уже не стагнация и даже не демодернизация, а почти полная остановка общественного производства и соответственно – нищета. Отец семейства (хозяин) не может прокормить семью, что для дагестанца или чеченца просто невыносимо. А рядом – бурный рост «производства разрушений», т.е. война или подготовка к ней. Поэтому, хотя «критический случай» экономически выгоден обеим воюющим сторонам, он разрушителен для мирного населения. «Сегодня Чечня имеет статус, лучше которого не бывает. Она пользуется всеми привилегиями субъекта Федерации, но никаких обязательств перед Федерацией не несет. Мы не можем спросить с грозненских властей даже за то, что с их территории совершаются вооруженные набеги на соседние регионы» [21, с. 7]. Иными словами, «критический случай» еще и потому выгоден обеим сторонам, что создает ситуацию *максимальной неопределенности*: ни федеральные, ни местные органы власти должным образом не контролируют расходование бюджетных средств на местах. Поэтому неизвестно, на что идут выделяемые федеральным бюджетом деньги: на восстановление экономики, помощь переселенцам или же на закупки оружия и взрывчатки для боевиков.

Даже в ситуации «ни мира – ни войны» в недрах российской бюрократической машины невозможно отыскать фигуру или ведомство, персонально отвечающее за, скажем, социальную защиту немощных граждан, оказавшихся в зоне кризиса, за судьбу сотен одиноких граждан, затерянных на полях «критических зон».

Логика развития «критического случая» есть частный случай логики социальной деволюции. Любые созидательные действия (восстановление жилья, инфраструктур, социального порядка) имеют спорадический характер, поскольку в конечном счете детерминируются именно логикой этого нисходящего процесса. Поэтому, по моему мнению, в ситуации «критического случая» рациональное, т.е. накопительное (расширенное) общественное производство невозможно вообще. Нормой является иррациональность: созидание – разрушение – частичное восстановление – снова разрушение... Т.е. порочная, но приносящая выгоду нисходящая «спираль». Всякое креативное действие в данной ситуации может быть только частичным, временным, на скорую руку сделанным и только *за счет* ресурсов, привлекаемых извне или отнятых у другого, столь же эфемерного «производства». Кстати, это – доведенный до мыслимого логического предела советский «способ производства», одним из институционализированных механизмов которого было бесконечное латание дыр. Обратной стороной этой двойной, разрушительно-восстановительной логики войны является истощение ресурсов государства, стремящегося восстановить социальный порядок на данной территории, и как следствие – истощение ресурса самой контртеррористической операции.

Таким образом, при всей специфичности «критического случая», он есть логическое продолжение ситуации, сложившейся в государстве и обществе: то же господство бюрократии, тот же теневой рынок и черный бизнес, та же хроническая нехватка средств и потому постоянные задержки с выплатой зарплат, пенсий и «боевых», использование устаревших оружия и техники и весьма сомнительного, а то и просто негодного, «человеческого материала».

Социальный порядок

«Критический случай» представляет собой разрушение «нормального» (привычного) порядка жизни и регулирующих его фоновых практик. Вместе с тем этот случай есть среда (ситуация), заставляющая находящегося в ней «нормального» (мирного) индивида пересматривать присущую ему систему ценностей и повседневных практик под единственным углом зрения – самосохранения и выживания, т.е. в конечном счете формирование иного доминирующего взгляда на мир.

«Критический социальный порядок» – это отсутствие не только права жителей на жизнь и безопасность, но и каких-либо гарантий их основных гражданских прав и свобод: на жилище, труд, образование, медицинское обслуживание, права на свободное передвижение и

волеизъявление, в общем – на все. Страх и голод – *основные «организаторы» социального порядка* в критических зонах. Ключевые семантические блоки, отражающие практику подобного порядка: «сами ничего не можем», «ничего не знаем» и «ни на что не надеемся».

Критический порядок представляет собой совокупность приватизированных порядков. Формально в «критических зонах» социальный порядок устанавливается и регулируется сверху – государством и его силовыми структурами. Эти структуры формируют и реализуют данный порядок посредством совокупности практик, легализуемых идеей подавления «внешнего врага» и обеспечения национальной безопасности. Однако реально функции части важнейших институтов, призванных обеспечивать этот порядок, деградируют: местная администрация выступает исполнителем директив силовых структур, прокуратура из надзирающего органа превращается в наблюдающий, армейские подразделения берут на себя функции дознания и наказания. Кроме того, в формировании данного порядка участвует и противоборствующая сторона (или стороны). Наконец, длительное существование «критического случая» порождает неподконтрольные ни той, ни другой стороне военизированные формирования, устанавливающие в зонах своего влияния собственный (частичный, точечный) порядок. Такая чресполосица «приватных» социальных порядков, создавая ситуацию высокой неопределенности, в конечном счете ведет к разрушению всякого социального порядка.

Эта неопределенность есть средство поддержания критического порядка. Государство как социальный институт реагирует на каждый «критический случай», но «управлять» его разрешением не может. Слишком разные интересы задействованы в каждом конфликте, ресурсы недостаточны, мотивация неопределенна. Кроме того, всякий подобный случай есть легитимация сохранения существующей бюрократической машины, которая, в свою очередь, постоянно поддерживает систему «коллективной безответственности». За порядок в Чечне сегодня фактически официально отвечают полдюжины федеральных силовых структур и столько же гражданских.

Все это в совокупности ведет к стагнации «критического случая», к «зависанию» и консервации сложившейся системы взаимоотношений. Ситуация в различных «горячих точках» России сходна в том, что она находится в вялотекущей фазе высокого риска и столь же высокой неопределенности, истощающей ресурсы всех вовлеченных сторон, но тем не менее обладающей способностью к устойчивому самовоспроизводству.

Данный социальный порядок имеет точечную структуру. Если в стабильном обществе социальный порядок покрывает всю подконтрольную территорию (страны, региона), т.е. действует повсеместно и постоянно, то в «критическом случае» социальный порядок ограничен во времени и пространстве. Например, блокпосты и иные опорные пункты силовых структур – это лишь дневная сеть порядка, которая к тому же не покрывает всей территории критического региона. Ночью эта сеть превращается в очаги самозащиты (блокпосты на ночь запираются изнутри). Но и ночная власть боевиков и бандформирований тоже ограничена сетью определенных точек. В итоге за социальный порядок ночью не отвечает никто, значит и устанавливать его на свой страх и риск может кто угодно.

Вообще, всеобщий страх и столь же всеобщее недоверие – важные детерминанты «критического» социального порядка. Все боятся всех. Как писала А. Политковская, «В Чечне до такой степени никто никому уже не доверяет и столько пережито предательств, что от любой колонны, проходящей на скорости, блокпост инстинктивно ждет выстрелов в упор... Группировка в Чечне – это очень заметно – живет в состоянии перманентного страха и когда ты до конца доверяешь только тем людям, которые рядом, плечом к твоему плечу» [22, с. 7]. Всеобщий риск как «организатор» социального порядка – это максимальная дисперсность страха и недоверия, фактическая невозможность определения источника и степени реальной опасности. Источником опасности может быть (как по отзывам воюющих, так и местных жителей) кто и что угодно – любой военный или гражданский, любой предмет, дорога, зеленка.

Поскольку вся социальная среда в ситуации «критического случая» выступает по отношению к силам поддержания порядка как угрожающая, рискогенная, силы, призванные осуществлять этот порядок, не имеют ни четких критериев, ни реальных возможностей для различения законопослушных и криминальных акторов. Поэтому так называемые адресные зачистки имеют своей целью не столько наведение порядка, сколько уничтожение источников опасности для самих силовых структур.

Напомним, что по закону антитеррористическая операция, как и всякая силовая акция, направленная на защиту социального порядка, есть действие против конкретного преступника (индивида, группы, сообщества). Однако в «критических случаях» идеологической основой устанавливаемого социального порядка фактически является доктрина «коллективной ответственности», т.е. коллективная ответственность местного населения за преступления, совершаемые отдельными лицами и группировками. По существу, местное население воспринимается противоположной стороной как «враждебное сообщество». Практики «нормального» социального порядка – обращение к главе местной администрации, прокурору, коменданту, службам социальной защиты, наконец, к любому другому «начальству» с тем, чтобы легальным способом зафиксировать причиненный вред – здесь крайне затруднены или неосуществимы. Доминируют практики силовые.

Вместе с тем многие социальные институты, и в первую очередь именно службы социальной защиты, привыкшие работать в «нормальных» условиях и под защитой закона, оказались совершенно не готовыми к действию в условиях «критического случая», т.е. в рискогенной и непривычно для них организованной социальной среде.

Например, в «мертвой зоне», каковой долгое время был Грозный, уже не энергией распада, а полумертвыми *продуктами распада* этого бывшего человеческого сообщества являются «ничейные люди» (неизвестные старики и беспризорные дети). Что тоже является одним из отличий «критического случая». Государственная система помощи оказавшимся в беде не прошла испытания «критическим случаем». Трудно сказать, что могло сделать в подобных условиях и другое защитное ведомство – по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям, когда эти «ничейные люди» спасались по сотням землянок и подвалов большого города и ситуация в каждой его точке была чрезвычайной.

Поскольку в операциях по элиминации «критического случая» участвуют различные силовые ведомства, имеющие разные задачи, и поскольку логика силового взаимодействия сторон вынуждает российские силовые структуры действовать изолированными группами и подразделениями (блокпосты, группы зачистки, поддержки, прикрытия, местная милиция, группы самообороны и др.), эти социальные акторы начинают формировать собственные практики установления и регулирования социального порядка. Наличие подобных практик – еще одно свидетельство «приватизации» социального порядка.

Логическим завершением развития «критического случая» является *беспредел*, представляющий собой совокупность «практик вседозволенности» при фактическом бездействии правовых ограничений или санкций со стороны общества. Беспредел есть отрицание общества как упорядоченного и управляемого целого. В терминах концепции «общества риска» беспредел есть максимальный (смертельный) риск для риск-потребителей при минимальной ответственности для риск-производителей. Другими словами, беспредел есть максимальная ставка для некоторого социального субъекта (жизнь) в ситуации полной невозможности непосредственного ответа на угрозу (все ресурсы выживания в чужих руках). Беспредел – это социальное пространство, где невозможно жить, но откуда невозможно и убежать. Наконец, беспредел обозначает «черную дыру» социального порядка, т.е. территорию, где велик шанс исчезнуть без следа, без возможности найти живых или погибших, опознать, похоронить как полагается.

Беспредел имеет двойственное происхождение. Его корнями являются слабость государственной власти, теневой рынок, криминализация части силовых структур, отсутствие гражданского контроля над армией. Вместе с тем беспредел чаще всего возникает

в зонах вакуума социального порядка, т.е. прежде всего в зонах правового и информационного вакуума. Там, где властные структуры и организации гражданского общества должным образом не осуществляют своих функций. Беспредел, как правило, легитимируется двумя принципами: «достижение цели любой ценой» и «война все спишет».

Беспредел как жизненная ситуация (и как среда обитания) порождает двойственную реакцию. С одной стороны, *непосредственно* беспредел означает экзистенциальное молчание, бездействие, отказ от какого-либо проявления себя как личности: не говорить, не называть себя по имени, никак не обнаруживать себя. И уж тем более ничего не требовать. Потому что всякое «обнаружение» может стоить жизни себе или близким.

Беспредел как безвыходная ситуация заставляет местных жителей готовиться к смерти, страх и усталость переходят в апатию: «Не все ли равно, как умирать, если жить нельзя?». Однако в критической зоне в ситуации беспредела находятся практически все. Необходимость молчать, постоянные унижения, страх, невозможность кому-то пожаловаться, написать правду домой или рассказать ее журналистам, призвать на помощь представителей правозащитных организаций – таков удел многих солдат-срочников. Отсюда желание многих из них выбраться из этой зоны любой ценой, бежать куда угодно, лишь бы там были еда и закон.

С другой стороны, беспредел стимулирует накопление потенциала разрушения. Это желание мстить – всем, без разбора, без адреса (т.е. всему обществу) за унижения, болезни, за незаконные задержания и санкции, за попрание элементарных человеческих прав. Т.е. длительное воспроизводство беспредела в одном конкретном месте порождает *отложенную реакцию* смертельного риска для всего общества. Но это также и формирование «беспредельных» групп и сообществ, сбивание в «стаи», выдвигание «своих авторитетов» для того, чтобы защититься от своих же. Наконец, из зоны беспредела есть хотя и эфемерный, но единственно возможный выход: откуп и выкуп, но опять же «беспредельный» – без всяких гарантий, контроля со стороны правозащитных организаций и в полном информационном вакууме.

Заключение

«Критический случай» есть предельное состояние «общества риска», т.е. случай, когда производство рисков (как бедствий, разрушений) является доминирующим способом общественного производства. Подобные случаи могут как возникать в ходе длительной деволуции общества, так и конструироваться политическими средствами. Рассматриваемый случай есть легитимация производства рисков, выгодная силам, находящимся за пределами критической зоны. Существующие социальные институты не способны выполнять возложенные на них функции. Этот случай есть также гуманитарная катастрофа, ведущая к невосполнимым потерям человеческого капитала.

В рассматриваемом случае социальный порядок теряет всеобщий характер и фактически приватизируется. Логическим завершением «критического случая» является беспредел. В терминах концепции «общества риска» беспредел есть максимальный риск для риск-потребителей при минимальной ответственности для риск-производителей. Иными словами, «критический случай» представляет собой иррациональный социальный порядок (порядок беспредела), который заставляет нас пересматривать сложившиеся представления о норме и патологии, привычном и экстремальном и т.д. Тем не менее «критический случай» должен анализироваться именно как форма социального порядка: его базовые ценности и нормы, субъекты, структура, ресурсы, сфера охвата, механизмы осуществления санкций, способы институционализации и повседневные практики.

Общество не может бесконечно существовать на принципах беспредела. Но и воспитанные, возвращенные им люди не могут вмиг измениться. Поэтому беспредел скорее всего будет постепенно трансформироваться в «порядок», но поначалу основанный на

законах «зоны», потом – «черного», теневого, «серого» бизнеса и т.д. Как мы уже не раз отмечали, обратный ход гораздо более труден и долгов, нежели прямой.

Литература

1. *Матвеева С.Я., Шляпентох В.Э.* Страхи в России в прошлом и настоящем. Новосибирск: Сибирский хронограф, 2000.
2. Катастрофическое сознание в современном мире в конце XX века (по материалам международных исследований) / Под ред. В.Э. Шляпентоха, В.Н. Шубкина и В.А. Ядова. М.: Московский обществ. научный фонд, 1999.
3. *Шубкин В.Н., Иванова В.А.* Страхи, тревоги, способность противостоять им // Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. М.: Издательство КАНОН-пресс-Ц, 2001. С. 348–358.
4. *Кузьмина А.А.* Риск-рефлексия в идеологии российского экологического движения // Россия: риски и опасности «переходного» общества / Под ред. О.Н. Яницкого. М.: Институт социологии РАН, 1998. С.199–224.
5. *Гудков Л.Д.* Страх как рамка понимания происходящего // Куда идет Россия?.. Власть, общество личность / Ред. Т.И. Заславская. М.: Моск. высшая школа соц-ных и экономич. наук, 2000. С. 429–438.
6. Риск в социальном пространстве / Под ред. А.В. Мозговой. М.: Институт социологии РАН, 2001.
7. *Головаха Е.И., Панина Н.В.* Социальное безумие. История, теория и современная практика. Киев: Абрис, 1994.
8. *Здравомыслов А.Г.* Социология российского кризиса. Статьи и доклады 90-х годов. М.: Наука, 1999.
9. *Клямкин И., Тимофеев Л.* Теневая Россия: экономико-социологическое исследование. М.: РГГУ, 2000.
10. *Шабанова М.* Институциональные изменения и неправовые практики // Кто и куда стремится вести Россию?.. Актеры макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса / Под ред. Т.И. Заславской. М.: Моск. высшая школа соц-ных и экономич. наук, 2001. С. 319–327.
11. *Яницкий О.Н.* Альтернативная социология // Социологический журнал. 1994. № 1. С. 70–84.
12. *Yanitsky, Oleg.* Sustainability and Risk: The Case of Russia // Innovation. Vol. 13. No 3. 2000. pp. 265–277.
13. *Яницкий О.Н.* Россия как общество риска: контуры теории // Россия: трансформирующееся общество / Под ред. В.А. Ядова. М.: Издательство КАНОН-пресс-Ц, 2001. С. 21–44.
14. *Яницкий О.Н.* Россия: экологический вызов (общественные движения, наука, политика). Новосибирск: Сибирский хронограф, 2002.
15. *Капелюшников Р.* «Где начало того конца?... (К вопросу об окончании переходного периода в России) // Вопросы экономики, 2001. № 1. С. 138–156.
16. *Волков В.* Силовое предпринимательство в современной России // электронный журнал «Экономическая социология» (www.ecsoc.msses.ru). Том 3. Глава 1. 2002. С. 20–42.
17. *Радаев В.* Российский бизнес: на пути к легализации? // Вопросы экономики. 2002. № 1. С. 68–87.
18. *Кагарлицкий, Б.* С террористами не разговариваем, но помогаем // Новая Газета, 24–30 января 2000. С. 4.
19. *Фурман Д.* Самый трудный для России народ. Чечня, которую мы не знаем. // Независимая Газета, 11 ноября 1999. С. 8.

20. *Сорокин П.А.* Общедоступный учебник социологии. Статьи разных лет. М.: Наука, 1994.
21. *Собянин С.* Политики сдали Чечню силовикам. // *Общая газета*, 23–29 сентября 1999. С. 7.
22. *Политковская, А.* Планета в составе России // *Новая Газета*, 11–14 января 2001. С. 7.

IN MEMORIAM

ГЕРМАН ГЕРМАНОВИЧ ДИЛИГЕНСКИЙ

14 июня 2002 года от нас ушел Герман Германович Дилигенский, талантливый российский ученый, многолетний глава Центра сравнительных социально-экономических и социально-политических исследований ИМЭМО РАН, главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения», руководитель политологического семинара «Россия в условиях трансформаций», эксперт Фонда «Общественное мнение» и других научных центров и фондов.

Имя Германа Дилигенского не очень известно широкой публике: он не занимался саморекламой, не выступал с броскими заявлениями, редко появлялся на телевизионном экране, поражал не столько внешним блеском, сколько свежестью, глубиной и основательностью своих мыслей и оценок. В эпоху, когда общественные науки во всем мире становятся все более специализированными, дифференцированными, узко направленными на конкретные объекты, Дилигенский представлял собой тип ученого-мыслителя, объединявшего в одном лице историка, политолога, социопсихолога. Ему был присущ глубокий, комплексный подход к сложным явлениям, и в то же время в его построениях не было никакой схематичности, всегда присутствовали максимальная конкретность, трезвость, внимание ко всем противоречиям и хитросплетениям действительности. Отсюда тот интерес, который у всех серьезных аналитиков вызывали не только его большие работы, но и рядовые выступления, всегда заставлявшие с нетерпением ожидать, когда прозвучит его негромкое, но веское слово.

Несомненно, Герман Дилигенский – одна из знаковых фигур, олицетворяющих постепенное возрождение российских общественных наук, вхождение их уже не только в роли ученика в контекст современной мировой культуры.

Начинал он как историк древнего мира (первая его монография посвящена Северной Африке IV–V веков). Если вспомнить год окончания Германом университета (1952-й), в этом не было ничего удивительного – то была сфера, максимально свободная от официальных марксистских догм. Однако при первой возможности (в атмосфере, возникшей после XX съезда) он сделал выбор в пользу жгучей современности – социально-политических проблем стран Западной Европы. Это был выбор более богатой аналитическими возможностями и, что не менее важно, открытой, *незавершенной* реальности, оставлявшей место для исследования возможных альтернатив дальнейшего развития.

Уже первая его крупная работа, посвященная современности («Рабочий на капиталистическом предприятии: исследование по социальной психологии французского рабочего класса», 1969 г.), резко выделялась из всего массива стандартно мертвенных советских опусов, препарировавших западное общество по рецептам официального марксизма-ленинизма. Непредвзятый взгляд на исследуемые явления, уверенное освоение новейших аналитических подходов и методик, взвешенность и полнота выводов – все это сразу поставило автора книги на один уровень с лучшими зарубежными исследователями, сделало эту работу классической, методологически не устаревшей и ныне.

В ней впервые проявился политический темперамент Германа Германовича, его стремление своим анализом продвинуть вперед не только науку, но хоть немного – и общественную ситуацию в стране. Все своей деятельностью он по мере сил противостоял заскорузлomu догматическому взгляду на окружающий мир.

Здесь самое время сказать об отношении Г. Дилигенского к марксизму. Естественно, что он начинал работать в марксистской парадигме. Но важно то, что он по существу взял из марксизма прежде всего то, что вошло в золотой фонд мировой науки: стадийность, важную

роль экономики, категорию классов. Можно сказать, что в этом ключе марксизм оказал позитивное влияние на молодого ученого, привив ему интерес к *макросоциальным* процессам и историческому развитию. И это сполна проявилось в его макроподходе к психологическим феноменам – недаром важную роль в его концепции играют категории «общественного опыта», «общественной практики».

В то же время с ранних лет ему было присуще трезвое отношение к *догмам* марксизма-ленинизма. Категорию классов, например, он понимал не как универсальную отмычку к объяснению исторических фактов, явлений, отношений, а как совокупность объективных жизненных условий и социального опыта, которая в сфере психологии может в определенном коридоре давать очень разные результаты. Поэтому он акцентировал внимание на многочисленных *опосредованиях* между объективным и субъективным.

Фактически формула «бытие определяет сознание» уже на ранних этапах его творчества во многом подвергалась корректировке. Позже он говорил, что в такой категорической формулировке она столь же неверна, что и обратная. Одним из первых в России он понял падение значения классов в общественной жизни западных стран. Несомненно, ему помог в этом именно его социально-психологический подход.

Что же реально сделал Герман Германович Дилигенский как социальный психолог? Он основал новое направление.

Известно, что в науке существуют *общая* психология, занимающаяся психологией индивида, *социальная* психология, изучающая непосредственные психологические отношения между людьми, *политическая* психология, исследующая психологию политиков и психические процессы, влияющие на политику. Но, как писал Дилигенский, «ни одна из существующих дисциплин не рассматривает макросоциальный (социэтальный) уровень психологических отношений и процессов как *особую сферу* психической жизни людей, обладающую своим системным единством и своими специфическими механизмами и закономерностями». (Социально-политическая психология. М.: Наука, 1994. С.7).

Герман Германович и стал фактическим основателем направления, названного им *социально-политической* (или «макросоциальной») психологией. Она объединила те направления и проблемы социальной психологии, которые выходят на социэтальный уровень, с проблематикой политической психологии, используя также и макросоциологию.

Социально-политическая психология взяла на вооружение категориальный аппарат и некоторые закономерности и выводы общей (индивидуальной) психологии. Это стало возможным благодаря отмеченному Дилигенским «изоморфизму» микро- и макроуровней психики. При этом Герман Германович решительно отвергал происходящее у некоторых исследователей редуцирование сложных феноменов социэтального уровня к элементарным явлениям низшего уровня (скажем, объяснение макropsихологии биогенетикой или психофизиологическими характеристиками). В своем анализе он широко и творчески использовал работы своих предшественников в разных областях психологической науки – Тарда, Лебона, Фрейда, К. Левина, Леонтьева, Выготского, Узнадзе, Московичи и других.

В отличие от других психологических направлений, социально-политическая психология, подчеркивал Дилигенский, концентрирует внимание не только на *механизмах* взаимодействия людей, но и на *содержании* (конкретно-историческом) психических образований и поведения. Задачей этой науки, по его определению, является «*познание людей одновременно как продукта и движущей силы функционирования и развития общества*» (указ. соч., с.7). Иначе говоря, *взаимодействие* психической сферы человека с конкретно-историческим обществом, с историческим развитием. Это ключевой момент в понимании социально-психологических процессов (откуда, собственно и проистекает вывод о ложности упрощенной формулы «бытие определяет сознание», как и обратной), имеющий чрезвычайно важное методологическое значение в подходе к нынешней российской действительности.

Г.Г. Дилигенский отверг естественный для марксистских психологов (впрочем, не для них одних) *когнитивистский* (познавательный) подход к психическим явлениям (психика познает мир, вырабатывает представления о нем, позволяющие ориентироваться). Такой подход, считал он, не может дать ответа на вопрос, чем обусловлено конкретное содержание представлений, убеждений, верований людей, их отношение к общественным феноменам. Он подчеркивал единство когнитивного, мотивационного, аффективного (эмоционального) аспектов психологии. Это положение известно из общей психологии, но редко применялось для объяснения макросоциальных процессов. Герман Германович особо выделял основополагающее значение мотивационной стороны (прежде всего *потребностей*).

Роль потребностей как внутреннего энергетического двигателя психики впервые подчеркнул в своем анализе З. Фрейд. Небезынтересно отношение Г. Дилигенского к фрейдизму. Фрейдизм как таковой, в котором исключительную роль играет сведение психологических процессов к влиянию либидо, детских комплексов и проч.) Герман Германович оценивал достаточно критически, но указывал при этом на огромную важность открытой Фрейдом роли подсознания как сферы проявления потребностей, источника внутренних психологических импульсов. Отсюда следует, по логике, неудовлетворительность марксистского термина «массовое сознание»: скорее можно вести речь о массовой психологии, соединяющей в себе не только осознаваемое, но и бессознательное.

Социально-политические потребности, по Дилигенскому, суть экстраполяция индивидуальных и групповых потребностей, мотиваций в макросоциальную и политическую сферу. Разумеется, это не простой и не однозначный феномен. Потребности людей проецируются в социально-политическую сферу только в том случае, если они связывают с ней удовлетворение (или неудовлетворение) этих потребностей. Здесь возникают различного рода важные психологические процессы – переноса, замещения, вытеснения и т.д. Социально-политическая потребность не сводима к сумме индивидуальных, на надличностном уровне возникает новое качество.

С учетом специфики социально-политической психологии Герман Дилигенский предложил укрупненную типологию потребностей, выделив несколько основных, принципиально различающихся групп – потребности физического существования (не только материальные, но и потребность в безопасности), потребности социального существования (статусные, потребность в позитивных межличностных отношениях, морально-этические), познавательные, деятельностные (потребность в активном отношении к окружающей среде). Различное соотношение между разными группами потребностей находится в прямой зависимости от характера наличного общества. В докапиталистических обществах, указывал Дилигенский, преобладала потребность в защите от различного рода угроз, в интеграции в социум, в современных демократических обществах актуализируется потребность в индивидуальном и социальном развитии, в обновлении.

Для Германа Германовича было характерно неоднозначное отношение к концепции А. Маслоу, выстроившего иерархию потребностей (от низших к высшим) и выдвинувшего тезис о движении людей от основания этой пирамиды, т.е. элементарных потребностей, по мере их удовлетворения, к ее вершине (самоактуализации). Р. Инглхарт, основываясь на этой концепции, доказывает, что в приоритетах населения Запада произошел качественный сдвиг – от «материалистических» ценностей к «постматериалистическим». Г. Дилигенский, признавая рациональное ядро в анализе обоих исследователей, смог показать, что все гораздо сложнее: действительно, удовлетворение более элементарных потребностей, как показывает опыт Запада, важно для актуализации потребностей более высокого порядка, но вытеснения первых вторыми не происходит: для большинства населения характерно сочетание тех и других.

Одним из понятий, введенных Дилигенским в психологическую науку, была *базовая напряженность* – конфликт между двумя базовыми потребностями социального

существования – потребностью в объединении с другими людьми и в автономии от них, в выделении из социума. Конфликт между общественной сущностью человека и подавлением индивидуальности социумом проявляется то в скрытом, латентном виде, то в более явном, являясь организующим началом всей системы потребностей социального существования, мотивационного ядра личности.

Благодаря макропсихологическому подходу Г. Дилигенский одним из первых в России смог понять серьезное изменение социально-психологической ситуации на Западе, произошедшее к концу XX в. Речь идет об ослаблении социальной конфликтности, уменьшении социальной обусловленности индивидуального сознания, развитии нового индивидуализма, связанного со стремлением к личностной автономии, и требующего в качестве своего дополнения новой социальности, связанной уже не только с определенной большой группой, но с разными большими и особенно малыми группами. Он ясно понимал влияние изменившихся механизмов формирования массовой психологии на изменение характера политики, много писал об этом.

Широта научного кругозора, ясное представление о сложности и противоречиях социально-политической психологии и политического процесса, тонкость анализа дали Герману Германовичу и глубокое понимание сущности и динамики постсоветского развития России. Эта сторона знакома участникам семинара по докладам ученого и многочисленным его выступлениям по широкому спектру проблем. Он и здесь проявил себя не только как ученый, но как мыслитель, как гражданин, как политик.

Для него был в высшей степени характерен взвешенный, лишенный какой бы то ни было односторонности подход и вместе с тем – определенность высказываний и оценок. В объяснении российских феноменов он избежал перекоса как в духе теорий стадийности, так и в духе цивилизационного подхода. Он считал характеристикой современной России переходность, но с тенденцией к закреплению свойственной переходу гибридности общества. В споре о том, «демократия или авторитаризм в России?» он опять-таки не занял односторонней позиции. Наиболее четкий его ответ – в России «демократически избираемая и сменяемая авторитарная власть». («Мировая экономика и международные отношения». 1997. №7. С.6).

Естественно, наиболее волновавший его вопрос – пути и возможности дальнейших преобразований в России в направлении демократического рыночного общества. В принципе, говорил он, есть два фактора эффективной трансформации: ресурсы институциональных структур и потенциал социальных субъектов. При несовершенстве и противоречивости институциональных структур в них есть конструктивные элементы – частная собственность, более или менее рыночные механизмы распределения, гласность, плюрализм, выборы, относительная стабильность власти и широкие полномочия высшего руководства. Но реализовать эти ресурсы необычайно сложно.

Все дело в том, что институты – это не только структуры. Герман Германович принимал естественное для основателя социально-политической психологии широкое понимание институтов – как не только структур, но прежде всего «мягкого компонента» – писаных и неписаных норм и принятых в обществе образцов поведения. Он считал, что в целом российская институциональная ситуация неблагоприятна для трансформаций (для действий *на макроуровне*).

Российская элита, считал он, которая в первую очередь должна предъявлять обществу образцы поведения, содействовать формированию социальных норм современного типа, в силу ее генезиса в основном из советской номенклатуры мало способна к этому. Г. Дилигенский критически относился не только к властвующей элите, но и к российским либеральным политикам (при том, что сам эволюционировал в 90-е гг. к современному либерализму). Он неоднократно обращал внимание на их доктринерство, невнимание к массовому общественному мнению, непонимание

важности социального содержания либеральной политики, демократии как, в конечном счете, наиболее эффективного политического механизма.

В состоянии элит он видел отражение состояния общества, определяя его как *деинституционализацию* – отсутствие единой и определенной идейно-ценностной и нормативной системы.

Он постоянно подчеркивал, что пресловутый коллективизм россиян в нынешнее время – не более чем миф. От традиционного коллективизма общинного типа, который активно эксплуатировался большевиками в первые десятилетия советской власти, остались лишь реликты в виде вербальной ценности и, может быть, потребности в активном личностном общении, свойственной, возможно, национальному характеру.

Уже позднесоветский человек, доказывал Герман Германович, несмотря на вербальный, декларативный коллективизм, в своем реальном поведении был заядлым индивидуалистом. К такого рода жизненной стратегии его принуждали объективные общественные условия последних десятилетий советской эпохи – это был, по определению Дилигенского, *адаптационный* индивидуализм, идущий вразрез с официальными коллективистскими нормами. В постсоветское время именно такое поведение для очень многих становится нормой, возникает *нормативный* индивидуализм. Если современный индивидуализм западного человека, как правило, сопряжен с сознанием социальных связей, вытекающей отсюда ответственности, уважением прав и интересов других людей, то нормативный индивидуалист – личность, лишенная того, что Фрейд называл «сверх-Я» (понимания социальных норм, социальной ответственности). Это тот самый феномен, который И. Клямкин называл «нелиберальным индивидуализмом».

Г. Дилигенский выделял три основных типа реакции людей на постсоветскую ситуацию. Это пассивное терпение (наиболее массовая реакция), активная адаптация (самый типичный пример – челноки) и, наконец, ориентация на максимальный экономический и социальный успех. При этом социальные связи устанавливаются, как правило, только между близкими людьми (родственники, друзья, хорошие знакомые). Нормативные индивидуалисты лишены способности к объединению, солидарности. Поэтому им, как и советскому человеку, присущ комплекс слабости – тем более, что в обществе существует *когнитивный вакуум*, т.е. отсутствие понятной массовым слоям населения информации о смысле происходящего, а это затрудняет для большинства рациональный выбор. Отсюда возникает соблазн искать защиты у авторитарного государства, создается «негативный политический консенсус» вокруг такой не идеологической или «доидеологической» ценности, как идея порядка.

Для Дилигенского было ясно, что авторитарный выбор в условиях России равносителен отказу от либерализации. Поэтому он уделял немалое внимание исследованию отношения россиян к демократии. На конкретном материале он показал, что демократия для большинства является условным общественным идеалом, мало связанным с отношениями и структурой власти. Его основное содержание – либо свобода, понимаемая по-русски, т.е. как ничем не ограниченная «воля», либо социальная защита, т.е. государство, оказывающее патерналистскую поддержку слабым, либо и то, и другое вместе.

Герман Германович соглашался со многими исследователями, считавшими, что слабости российского менталитета – тяжкое наследие российских архетипов, традиционной политической культуры. Но в отличие от большинства он отстаивал принципиальную *изменяемость* этой культуры, призывал отслеживать те феномены, в которых проглядывает это изменение.

Главной проблемой, которой он уделял наибольшее внимание в последние годы, была для него проблема *субъекта модернизации*. При неблагоприятной ситуации на макроуровне, утверждал он в недавних работах, решающим фактором становится *микроуровень*, уровень *индивида*, повседневная общественная практика.

В поисках такого индивида в последней крупной работе («Люди среднего класса». М.: Институт Фонда «Общественное мнение», 2002) он обратился к зарождающемуся постсоветскому среднему классу – вернее, к его креативному меньшинству, наиболее активным и обладающим гражданственным потенциалом представителям. Разумеется, он отмечал расплывчатость границ нового российского среднего класса. Главным критерием его идентичности он считал определенный комплекс представлений о социальной реальности и месте в ней. При этом внутри него сохраняется глубокая социально-психологическая дифференциация, его представители очень разные по своему положению и жизненным позициям.

В свое время Г.Г. Дилигенский выделил три основных уровня единства больших групп: типологическое (объективное и субъективное сходство), идентификационное (осознание общности) и солидаристское (способность к объединению и совместному действию). Его исследование показало, что постсоветский средний класс находится в основном на типологическом уровне, изредка поднимается на идентификационный, и никогда – но солидаристский уровень. Это еще одно подтверждение того, что на макроуровне дело обстоит неважно.

В то же время исследование показало и то, что есть не так мало представителей среднего класса, выступающих в своей профессиональной сфере как ответственные граждане – не только адаптировавшиеся к новым условиям, но и сознающие свою социальную ответственность, выступающие с социальными инициативами (будь то целенаправленная благотворительность, или создание новых медицинских центров, или распространение нового профессионального опыта), меняющие в своем окружении социальную практику. Это изменение социальной практики, утверждал Герман Германович, – зародыш нового внутри социума. Пусть эти люди – меньшинство своего слоя, но они воплощают в себе потенциал гражданственности, являются потенциальными социальными акторами, хотя пока еще не на социетальном уровне. Г. Дилигенский полемически заявлял, что изменения в низах первичны по отношению к изменениям в верхах, что только давление снизу, со стороны новой социальной практики, может изменить позицию верхов.

Возможно, одним из направлений дальнейших исследований Германа Германовича могло стать выявление условий, при которых социальная активность креативного меньшинства перешла бы на социетальный уровень. Первые посмертные публикации Г. Дилигенского – статья «Глобализация в человеческом измерении», опубликованная в №7 журнала «Мировая экономика и международные отношения», и интервью, напечатанное в предыдущем номере, показывают, что его ум до конца дней был полон идей и замыслов, осваивал новые научные горизонты. Но смерть оборвала его напряженную творческую работу, лишив нас одного из самых светлых умов российской общественной науки.

Уход Дилигенского – чувствительная потеря не только для научного мира, но и для общественно-научной журналистики. Став пятнадцать лет назад главным редактором «Мировой экономики и международных отношений», Герман Германович резко порвал с традицией сверхосторожной перестраховки, господствовавшей там при многолетнем прежнем редакторе – Я.С. Хавинсоне. Он открыл дорогу свободной мысли, новым темам, острым дискуссиям. Сделал журнал одним из наиболее серьезных изданий широкого профиля – от российской и мировой экономики до текущей внутренней и международной политики, социологии и социальной психологии.

Возглавляя несколько десятилетий крупные коллективы политологов и социологов, он и на этом поприще тоже был вполне современен: сотрудники видели в нем не «начальство», а товарища – более опытного, авторитетного, мудрого. Его мягкий стиль руководства был намного более эффективен, чем старорежимное диктаторство. Несмотря на постоянное внутреннее напряжение, в котором его держала непреходящая семейная трагедия, он никогда не позволял себе срываться, даже в сложных ситуациях был тверд, но

лоялен и деликатен. Ему не раз случалось вызывать на себя гнев сильных мира сего, в противостоянии которому он проявлял немалое мужество.

Трудно оценить в полной мере потерю, которую понесла наша наука с уходом Германа Дилигенского. Все значение его творчества и его личности, думается, будет достойно оценено лишь со временем. Остается надежда, что посеянные им семена дадут новые всходы, что научные коллективы, которыми руководил Дилигенский, сумеют развить дальше те направления исследования, которые лишились сейчас своего самого сильного представителя.

Холодковский К.Г.